

Алис Зенитер

# ИСКУССТВО ТЕРЯТЬ

Самый ожидаемый  
роман 2021 года

по версии

*The New York Times,*  
*The Millions* и *Forbes*

Лауреат

Гонкуровской  
премии  
лицеистов

Лауреат премии

*Le Monde*



Алис Зенитер  
**Искусство терять**

Издательство "Livebook/Гаятри"

2017

УДК 82-3  
ББК 84

**Зенитер А.**

Искусство терять / А. Зенитер — Издательство "Livebook/  
Гаятри" , 2017

ISBN 978-5-907428-13-3

Роман «Искусство терять» принес автору Гонкуровскую премию лицеистов и премию Le Monde. Сильная и откровенная сага о трех поколениях одной семьи, прошедшей три войны, сменившей континенты. «Искусство терять» – роман о том, какую цену платят наши потомки за выбор, который делаем мы. Наима почти ничего не знает об Алжире – родине ее предков. Она не понимает арабского, не увлекается национальной кухней и не видит ценности в семейных безделушках. Ее бабушка с дедушкой бежали из государства, разоренного гражданской войной. Их детям пришлось отречься от прошлого и своей культурной идентичности, чтобы получить шанс на будущее во Франции. Теперь Наима отправляется в самостоятельное путешествие в Алжир, где обнаруживает, что с этой страной ее связывает гораздо больше, чем она ожидала. История о том, как мы продолжаем жить перед лицом утраты: утраты страны, идентичности, языка, связей. О наследии колониализма, иммиграции, о семье и войне.

УДК 82-3

ББК 84

ISBN 978-5-907428-13-3

© Зенитер А., 2017  
© Издательство "Livebook/  
Гаятри" , 2017

# Содержание

Пролог	6
Часть первая	10
•••	10
•••	14
•••	16
•••	18
•••	21
•••	25
•••	28
•••	30
•••	33
•••	38
•••	42
•••	47
•••	49
•••	52
•••	56
•••	58
•••	61
•••	64
•••	67
Конец ознакомительного фрагмента.	69

# **Алис Зенитер**

## **Искусство терять**

© Editions Flammarion, Paris, 2017

© Нина Хотинская, перевод на русский язык, 2021

© Livebook Publishing, оформление, 2021

## Пролог

Вот уже несколько лет Наима осваивается с новой бедой: с той, что теперь всегда приходит с похмельем. Нет, не просто болит голова, сохнет во рту, крутит и не работает желудок. Когда она открывает глаза наутро после вечеринки, где было слишком много выпито (пить теперь приходится реже, не дай бог, чтобы беда настигала ее раз в неделю, тем более два), ее первая мысль:

*У меня не получится.*

Поначалу она недоумевала, что это за ожидающий ее неминуемый провал. Фраза могла означать, что стыд наконец станет нестерпимым – ибо ей каждый раз стыдно за вчерашнее (ты слишком громко разговариваешь, врешь напропалую, ищешь всеобщего внимания, ты вульгарна), или сожаление – столько пьет и не знает меры (это ведь ты крикнула: «Эй, да вы что, не пойдем же мы баиньки, еще рано!»). Или фраза напоминала о ее физическом недомогании, ломоте... А потом она поняла.

В эти дни похмелья она как никогда чувствует, до чего ей трудно быть живой – обычно усилием воли удаётся это скрывать.

*У меня не получится.*

Глобально. Подниматься каждое утро. Есть три раза в день. Любить. Больше не любить. Расчесывать волосы. Думать. Двигаться. Дышать. Смеяться.

Бывает, что она не может этого скрыть, и признание вырывается, стоит ей войти в галерею.

– Как самочувствие?

– У меня не получится.

Камель и Элиза смеются или пожимают плечами. Они не понимают. Наима смотрит, как они снуют по выставочному залу, чуть медленнее двигаясь из-за вчерашних излишеств, – им незнакомо это раздавившее ее откровение: повседневная жизнь – спортивная дисциплина высокого уровня, и ее только что дисквалифицировали.

Ничего не получается, и в дни похмелья ничем заниматься нельзя. Хорошее в них может только испортиться, а плохое, не встретив никакого сопротивления, разрушит все изнутри.

Единственное, что могут стерпеть дни похмелья, это тарелки макарон с кусочком масла и солью: отвальное количество и нейтральный, почти неощущаемый вкус. И еще телесериалы. Критики много говорили в последние годы о том, что на наших глазах произошла необычайная метаморфоза. Что телесериал-де возвысился до ранга произведения искусства. И это поразительно.

Может быть. Но никто не разубедит Наиму, что на самом деле телесериалы существуют для ее похмельных воскресений, которые надо ухитриться заполнить не выходя из дома.

Назавтра каждый раз происходит чудо. Возвращается кураж, и можно жить. И кажется, что ты на что-то способен. Словно заново рождаешься. Наверно потому, что это завтра есть, она все еще пьет.

Есть завтра после попойки – бездна.

И есть завтра после завтра – счастье.

Из их чередования проистекает хрупкость, с которой приходится без конца бороться, – это и есть жизнь Наимы.

Сегодня утром она по обыкновению ждет следующего утра и, как козочка господина Сегена, не чаёт дожидаться восхода солнца.

*Время от времени козочка господина Сегена смотрела на звездный хоровод в светлеющем небе и думала: «Ах, только бы продержаться до рассвета...»*<sup>1</sup>

А потом, когда взгляд ее погасших глаз теряется в черноте кофе, в котором отражается потолочный светильник, вторая мысль проклеивается рядом с этой привычной мыслью – со злым паразитом: «У меня не получится». Это прореха, в каком-то смысле перпендикулярная первой.

Сначала мысль мелькает так быстро, что Наима не успевает ее распознать. Но в дальнейшем она начинает яснее различать слова:

«...знаешь, что делают ваши дочери в больших городах...»

Откуда взялся этот обрывок фразы, отчего он так настойчиво крутится у нее в голове?

Она уходит на работу. Днем другие слова налипают на первый фрагмент:

«носят брюки»,

«пьют спиртное»,

«ведут себя как шлюхи».

«Чем, по-вашему, они занимаются, когда говорят, что учатся?»

И если Наима отчаянно пытается доискаться, как она связана с этой сценой (в ее ли присутствии были сказаны эти слова? или она слышала их по телевизору?), все, что ей удастся извлечь на поверхность большой памяти, это сердитое лицо ее отца Хамида – брови сдвинуты, губы сжались, удерживая крик.

«Ваши дочери носят брюки»,

«ведут себя как шлюхи»,

«они забыли, откуда родом».

Лицо Хамида, застывшее маской гнева, накладывается на фотографии шведского художника, висящие в галерее вокруг Наимы, и каждый раз, куда ни повернет голову, она видит его – парящим на фоне белой стены, в ничего не отражающих стеклах, которыми прикрыты экспонаты.

– Это Мохамед сказал на свадьбе Фатихи, – сообщает ей по телефону сестра в тот же вечер. – Ты не помнишь?

– И он говорил о нас?

– Не о тебе, нет. Ты была маленькая, кажется, еще ходила в колледж. Он говорил обо мне и двоюродных сестрах. Самое смешное...

Мирием смеется, и ее хихиканье смешивается с потрескиванием в трубке на междугородней линии.

– Что?

– Самое смешное, что он был в стельку пьян, когда решил дать нам всем серьезный урок мусульманской морали. Ты правда ничего не помнишь?

Наима роется в памяти, терпеливо и ожесточенно, и ей удастся извлечь фрагменты картинок: бело-розовое платье Фатихи из блестящей синтетической ткани, палатка в саду банкетного зала, где наливали вино, портрет президента Миттерана в мэрии (он слишком стар для этого, подумалось ей тогда), слова песни Мишеля Дельпеша<sup>2</sup> про Луар-и-Шер, зардевшееся лицо матери (Кларисса краснеет от бровей, ее детей это всегда смешило), лицо отца, мучи-

---

<sup>1</sup> Цитата из сказки Альфонса Доде «Козочка господина Сегена», повествующей о том, как домашняя козочка рвалась в горы, на свободу, и убежала, несмотря на уговоры доброго хозяина господина Сегена; всю ночь она дралась там с волком, думая про себя: «Ах, только бы продержаться до рассвета...» – и на рассвете волк съел ее. – *Здесь и далее примеч. ред.*

<sup>2</sup> Мишель Дельпеш (1946–2016) – французский певец, композитор и актер.

тельно искаженное, и, наконец, слова Мохамеда – теперь она видит его, пошатывающегося среди гостей белым днем, в бежевом костюме, который его старил.

*Что, по-вашему, делают ваши дочери в больших городах? Они говорят, будто уезжают учиться. Но посмотрите на них: они носят брюки, курят, пьют, ведут себя как иллухи. Они забыли, откуда родом.*

Уже много лет Наима не видела Мохамеда на семейных трапезах. Она никогда не связывала отсутствие дяди с этой сценой, вдруг всплывшей в памяти. Она просто думала, что он наконец начал взрослую жизнь. Он долго жил в родительской квартире, этакий силуэт великовозрастного подростка – в бейсболке, в флуоресцентной тренировочной куртке, безработный и разочарованный. Смерть Али, его отца, дала ему прекрасный повод продолжать в том же духе. Мать и сестры звали его первым слогом имени, растянутым до бесконечности, крича из комнаты в комнату или из окна кухни, когда он ошивался на скамейках у спортивной площадки:

– Моооооооооооо!

Наима помнит, что, когда она была маленькой, он иногда проводил у них уик-энд.

– У него сердечные неурядицы, – объясняла Кларисса дочерям с почти медицинским сочувствием человека, живущего в такой долгой и безоблачной любви, что стерлись, кажется, даже воспоминания о сердечных неурядицах.

Мо, в пестрой одежде и высоких кроссовках, всегда казался Наиме и ее сестрам немного смешным, когда гулял по большому родительскому саду или сидел в беседке со старшим братом. Теперь, вспоминая его – и сама не зная, что придумывает сейчас, восполняя пробелы в памяти, а что придумала тогда, в отместку за то, что ее не допускали к взрослым разговорам, – она понимает, что ему было плохо не из-за несчастной любви, а по совсем другим причинам. Ей кажется, будто она слышит, как он говорит про свою загубленную юность, про пиво и дурь. Слышит, как он говорит, что ему нельзя было бросать лицей, а может быть, это Хамид или Кларисса позволяют себе судить задним числом. Еще он говорит своему брату, что их пригород в 1980-е годы уже не имел ничего общего с тем, который помнил Хамид, и нельзя осуждать его за то, что он не поверил в перспективы. Наима, кажется, видела, как он плакал под темными цветами ломоносов, а Хамид и Кларисса шептали что-то, успокаивая его, но она ни в чем не уверена. Много лет она не думала о Мохамеде (ей часто случается составлять про себя список своих дядей и тетей, исключительно чтобы удостовериться, что она никого не забыла, но иной раз такое бывает, и это ее расстраивает). Насколько она помнит, он всегда был печальным. В какой же момент он решил, что его горе ростом с утраченную родину и потерянную религию?

Слова флуоресцентного дядюшки кружатся у нее в голове, как неотвязная музыка карусели, стоящей прямо под окнами.

*Неужели она забыла, откуда родом?*

Когда Мохамед сказал эти слова, он говорил об Алжире. Он злился на сестер Наимы и их кузин: они забыли страну, которой никогда не знали. Да и сам он тоже не знал, ведь он родился в пригороде Пон-Ферон. Что тут забывать?

Конечно, пиши я историю Наимы, не начала бы с Алжира. Она родилась в Нормандии. Вот о чем надо было рассказать. Четыре дочери Хамида и Клариссы играют в саду. Улочки Алансона. Каникулы на Котантене.

Однако, если верить Наиме, Алжир всегда был где-то рядом. Это была сумма составляющих: ее имя, смуглая кожа и черные волосы, воскресенья у Йемы. Это и есть Алжир, который она никогда не могла забыть, потому что носила его внутри и на лице. Скажи ей кто угодно: то, о чем ты, – вовсе не Алжир, нет, это просто пометы магрибинской иммиграции во Францию, которую ты представляешь во втором поколении (как будто иммиграция никогда не кончается,

как будто она сама в вечном движении), а есть Алжир, реальная, физически существующая страна, по ту сторону Средиземного моря, – Наима, наверно, призадумалась бы на минутку и признала, что да, правда, *другой* Алжир, страна, начал существовать для нее лишь много позже, в год ее двадцатидевятилетия.

Для этого потребуется совершить путешествие. Увидеть Алжир вдали, стоя на палубе парома, чтобы страна всплыла из безмолвия, которое скрывало ее лучше самого густого тумана.

Долгое это дело – извлечь страну из безмолвия, особенно Алжир. Его площадь 2 381 741 квадратный километр, это десятая по величине страна мира, самая большая на африканском континенте и в арабском мире; 80 % этой площади занимает Сахара. Это Наима знает из Википедии, не из семейных преданий и не из личного опыта. Когда приходится искать в Википедии сведения о стране, из которой, говорят, ты родом, то, наверно, у тебя проблема. Мохамед, возможно, прав. Так что мы начнем не с Алжира.

Или все-таки с Алжира – но, пожалуй, не с Наимы.

## Часть первая Папин Алжир

*«Все это вылилось в тотальное потрясение основ, из которого старый порядок мог выйти лишь обескровленным, расколотым, живым анахронизмом».*

**АБДЕЛЬМАЛЕК САЯД**<sup>3</sup>. «Двойное отсутствие»

*«Папин Алжир умер».*

**ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ**



Предлог прост: алжирский дей<sup>4</sup> в минуту гнева стукнул французского консула веером – или это была мухобойка, версии разнятся, – вот так завоевание Алжира французской армией и началось в 1830 году, в начале лета, в гнетущей жаре, которая будет еще усиливаться. Если признать, что речь шла о мухобойке, придется, представляя себе всю сцену, добавить к свинцовому солнцу гудение иссиня-черных насекомых, кружащих вокруг солдатских лиц. Если же склониться к вееру – это уже образ в восточном вкусе: жестокий и изнеженный дей был, наверно, лишь жалким оправданием масштабной военной операции – как и удар по голове консула, и совсем не важно, чем именно. Предлоги для объявления войны бывают разные, и от такого, должна признать, веет даже какой-то поэзией, которая чарует меня – особенно в версии с веером.

Завоевание прошло в несколько этапов, потому что требовало покорения нескольких *алжиров*, прежде всего – регента столицы, затем – эмира Абделькадера<sup>5</sup>, Кабилии<sup>6</sup> и, наконец, полвека спустя, Сахары и Южных территорий, как их зовут в метрополии, – и это название одновременно таинственно и банально. Эти многочисленные алжиры французы сделали департаментами Франции. Аннексировали их. Присвоили. Они уже знали, что такое национальная история, официальная история, попросту говоря, большое брюхо, способное заглотить и переварить обширные земли, лишь бы те согласились, чтобы им присвоили дату рождения. Когда вновь прибывшие мечутся внутри большого брюха, История Франции тревожится не больше, чем тот, у кого урчит в желудке. Она знает, что процесс пищеварения может занять время. История Франции рука об руку с французской армией. Они всегда вместе. История – Дон Кихот с его мечтами о величии; армия – Санчо Панса, трусит себе рядом и делает грязную работу.

Алжир лета 1830-го – страна клановая. У него не одна история. А между тем, когда История употребляется во множественном числе, она начинает флиртовать со сказкой и легендой. Сопротивление Абделькадера и его присных, кочевое поселение, словно парящее в пустыне, сабли, бурнусы и лошади – все как будто прямиком из «Тысячи и одной ночи», если смотреть через море из метрополии. Экзотика – вот прелесть, почти невольно бормочут парижане,

---

<sup>3</sup> *Абдельмалек Саяд* (1933–1998) – французский социолог, много лет занимавшийся проблемой миграции. Родился в Алжире в арабской семье, после обретения Алжиром независимости уехал во Францию.

<sup>4</sup> *Деи Алжира* – наместники турков, управлявшие Алжиром с 1671 по 1830 г. В 1830 г. проиграли войну за Алжир французской армии. История с веером претендует на историческую достоверность и изложена в Википедии.

<sup>5</sup> *Эмир Абделькадер* (Абд аль-Кадир бен Мухиеддин; 1808–1883) – борец за независимость Алжира, богослов, поэт и полководец, национальный герой Алжира.

<sup>6</sup> *Кабилия* – область на севере совр. Алжира.

складывая прочитанные газеты. И в этом слове – «прелесть», – разумеется, слышится, что это *не серьезно*. Множественная История Алжира не имеет весомости официальной Истории, той, что объединяет. И вот книги французов поглощают Алжир с его сказками и превращают их в несколько страниц своей Истории, той, что выглядит размеренным движением между заученными наизусть вехами и датами, в которых воплощен внезапный прогресс, кристаллизуясь и сияя. Столетие колонизации в 1930-м стало церемонией поглощения, в которой арабы – просто статисты, декоративные фигуры, вроде колоннады из прошлых эпох, римских развалин или плантации старых экзотических деревьев.

И уже звучат голоса с обеих сторон Средиземного моря, ратуя за то, чтобы Алжир не был только главой книги, которую не имел права написать. Пока, похоже, никто их не слышит. Иные с радостью принимают официальные версии и соревнуются в риторике, восхваляя цивилизаторскую миссию, делающую свое дело. Другие молчат, потому что думают, что История происходит не в их – нет, – а в параллельном мире, мире королей и воинов, в котором им нет места и не сыграть роли.

Али – тот считает, что История уже написана, и по мере своего движения она лишь проявляется, как переводная картинка. Все деяния совершаются не ради перемен, которые невозможны; все, что можно, – лишь снятие покровов. *Мектуб*, все написано. Он толком не знает, где написано, может быть, в облаках, может быть, в линиях руки или где-то в теле крошечными буквами, а может быть, в зенице Бога. Он верит в *мектуб* удовольствия ради, потому что ему нравится, что не надо ничего решать самому. Верит он в *мектуб* и потому, что незадолго до тридцати лет на него свалилось богатство, буквально случайно, и, думая, что так было написано, он не чувствует вины за свое везение.

Но, возможно, в этом-то Али и не повезло (скажет себе Наима позже, когда попытается представить себе жизнь деда): удача повернулась к нему лицом, а он был вовсе ни при чем, сбывшись его надежды, а ему не надо было даже и пальцем о палец ударить. Чудо вошло в его жизнь, и от этого чуда – как и от всего, что оно влечет за собою, – потом отделаться трудно. Удача дробит камни, говорят иногда там, в горах. Это она и сделала для Али.

В 1930-х годах он – всего лишь бедный юноша из Кабилии. Подобно многим парням из его деревни, ему не хочется ни гнуть спину на клочках семейной земли, крошечных и сухих, как песок, ни утруждать себя обработкой земель поселенцев-колонов или крестьян побогаче его, нет желания и податься в город, в Палестро, чтоб наняться там в разнорабочие. Порывался он на шахты в Бу-Медран – его не взяли. Вроде бы старый *франкауи*, с которым он говорил, потерял отца во время восстания 1871 года <sup>7</sup>, и не хочет терпеть рядом местных.

Не имея стабильного ремесла, Али занимается всем понемногу – этакий бродячий крестьянин, летучий, можно сказать, крестьянин, и на деньги, которые он приносит, вместе с заработанными отцом вполне можно кормить семью. Он даже отложил кое-что для женитьбы. Когда ему исполнилось девятнадцать, он женился на одной из своих кузин, совсем юной девушке с красивым меланхоличным лицом. В этом браке у него родились две дочери – эх, как жаль, строго рассудила родня у постели роженицы, и та умерла, не снеся позора. В доме, где нет матери, говорит кабийская пословица, даже когда горит лампа, темно. Юный Али терпит темноту, как терпел бедность, говоря себе, что и это написано и что для Аллаха, который все видит, жизнь имеет высший смысл даже в горестях.

В начале 1940-х шаткое экономическое равновесие семьи рухнуло, когда умер отец: он сорвался со скалы, пытаясь поймать убежавшую козу. Тогда Али завербовался во французскую

---

<sup>7</sup> Восстание Мукрани, также известное на местном уровне как Французская война, вспыхнуло 16 марта 1871 г. и было крупнейшим восстанием против французской колониальной власти в Алжире со времени его завоевания в 1830 г. Взбунтовалось более 250 племен, то есть около трети населения страны. Его возглавляли кабилы (один из берберских народов), которыми командовали шейх Мухаммед Мукрани, а после его смерти его брат Ахмед Бу Мезарг, а также шейх Хаддал, глава дервишского ордена Рахмания.

армию, которая как раз возрождалась из пепла, соединившись с батальонами Союзников, призванных отвоевать Европу. Ему двадцать два года. Он оставляет на мать братьев и сестер и двух своих дочурок.

По возвращении (тут в моем рассказе пробел, как и в рассказе Али, как и в воспоминаниях Хамида, потом Наимы: о войне он никогда не скажет больше этого слова, «война», и оно одно заполнит два года) он застал в доме нищету, которую, правда, облегчила его пенсия.

Следующей весной он повел своих младших братьев купаться в уэде <sup>8</sup>, вздвухшемся от таяния снегов. Течение так сильно, что надо держаться за камни и пучки травы на берегу, чтобы не унесло. Джамелю, самому хилому из троих, страшно. Двое других хохочут-заливаются, насмеваются над трусишкой, играючи тянут его за ноги, а Джамелю кажется, что это река подхватила его, он плачет и молится. И вдруг:

– Смотрите!

Что-то большое и темное несется прямо на них. К плеску и стуку камней добавился скрежет странного судна, оно плывет вниз по течению, ударяясь о скалы. Джамель и Хамза кинулись вон из воды, но Али и с места не двинулся, только съезжился за большим валуном, схватившись за него. Плавсредство врежется в его импровизированный щит, ненадолго замирает, качается, заваливается набок, вот-вот его снова подхватит течение. Али выбирается из укрытия и, присев на камне, пытается удержать на месте то, что принес поток: механизм обезоруживающей простоты, огромный винт из темного дерева в тяжелой раме, которую бурное течение еще не успело разломать.

– Помогите мне! – кричит Али братьям.

Дальнейшее он всегда будет рассказывать в семье как волшебную сказку. Обычными фразами без прикрас. Легкими и гибкими, требующими простого прошедшего времени, чисто литературного: «И тогда они достали пресс из воды, привели его в порядок и установили у себя в саду. Не важно было теперь, что их скудная земля бесплодна, потому что люди приходили к ним с оливками со своих наделов, а они выжимали масло. Вскоре и они достаточно разбогатели, чтобы купить свою землю. Али смог жениться и женить двух братьев. Старуха-мать умерла через несколько лет счастливой и умиротворенной».

Али не смеет верить, что заслужил свою судьбу или сам заложил основы своего богатства. Он по-прежнему полагает, что это удача и бурная река принесли ему пресс, потом поля, маленькую лавочку в горах, потом большое по местным меркам торговое предприятие, а главное – машину и квартиру в городе, ни с чем несравнимые знаки преуспевания, которые будут позже. Поэтому он думает, что, когда приходит беда, ничьей вины в этом нет. Как если бы бурная река вышла из берегов и смыла пресс посреди двора. По этой причине, когда Али слышит, как люди (немногие, еще мало кто) в кафе Палестро или Алжира говорят, что хозяева создают условия для нищеты, в которой живет большинство их рабочих и работников, и что возможна другая экономическая система – где тот, кто работает, тоже имеет право на прибыли на равных, или почти, с тем, кто владеет землей или машиной, – он улыбается и говорит: «Надо быть безумцем, чтобы идти против течения бурной реки». *Мектуб*. Жизнь – необратимый рок, а не обратимые исторические акты.

Будущее Али (уже далекое прошлое для Наимы сейчас, когда я пишу эту историю) не изменит его взгляда на мир. Он так и не сможет включить в рассказ о своей жизни различные исторические составляющие – или, может быть, политические, социологические, а то еще и экономические, – которые придали бы его рассказу масштабность саги о положении колониальной страны или хотя бы – чтобы не требовать слишком многого – о положении крестьян в колониальной стране.

---

<sup>8</sup> Уэд (или вади) – арабское название сухих долин в пустынях Аравии и Северной Африки; заполняются водой обычно после сильных ливней.

Вот почему эта часть истории для Наимы, как и для меня, похожа на ряд лубочных картинок (пресс, осел, вершины гор, бурнус, оливковая роща, горная речка, белые домики, прилепившиеся к камням и кедром, точно скопище клещей), перемежаемых поговорками, будто старик пересыпал редкие рассказы подарочными открытками из Алжира, а его дети их повторяли, кое-где меняя слова, а потом воображение внуков еще добавило от себя, увеличило и перерисовало, чтобы на них предстали страна и история семьи.

Вот почему без вымысла никак нельзя – как и без поисков, ведь только они и остаются, чтобы заполнить пробелы, которые зияют между картинками, передающимися из поколения в поколение.



Рост хозяйства Али и его братьев облегчается тем, что семьи, которые делят с ними территории горного хребта, не знают, как быть с крошечными разрозненными наделами, оставшимися им после многих лет экспроприации и секвестров. Земля поделена, раздроблена до нищеты. То, что раньше принадлежало всем и переходило от отцов к детям без нужды ни в бумагах, ни в словах, колониальные власти разгородили деревянными и железными кольщиками, насадив яркие разноцветные наконечники, размещение которых определялось метрической системой, а не тем, где лучше выжить. Трудно возделывать эти участки, но и в мыслях нет продать их французам: если собственность уйдет из семьи, это будет позор на всю жизнь. Тяжелые времена заставляют крестьян шире понимать идею семьи, сначала в нее включаются самые дальние родственники, потом все жители деревни, горы и даже противоположного склона. Короче, все, кто не французы. Многие фермеры не только готовы продать свои земли Али, но и благодарят его за спасение от другой, позорной продажи, которая навсегда исключила бы их из общины. *Будь благословен, сын мой.* Али покупает. Объединяет. Разрастается. В начале 50-х годов он уже картограф и может решать судьбу земель на бумаге.

Они с братьями строят новые дома вокруг старой глинобитной мазанки. Домашние переходят из одного в другой, дети спят везде, а по вечерам, когда все собираются в большой комнате старого дома, они как будто забывают о том, как разрослось их жилье. Расширяются, но не отдаляются друг от друга. В деревне с ними раскланиваются как со знатью. Видят их издали: Али и два его брата стали большими и толстыми; Джамель и тот раздался, а ведь его раньше сравнивали с тощей козой. Они похожи на гигантов горы. Особенно поражает лицо Али, теперь это почти идеальный круг. Луноликий.

– Если у тебя есть деньги, не прячь их.

Так говорят здесь, и высоко в горах, и внизу. И это странная заповедь, потому что деньги, чтобы выставить их напоказ, надо тратить. Показывая, что ты богат, становишься беднее. Ни Али, ни его братьям не приходит в голову откладывать деньги, чтобы они «работали», или для детей и внуков, даже на черный день. Есть деньги – надо их тратить. Они превращаются в лоснящиеся щеки, круглый живот, пестрые ткани, в драгоценности, чьи размеры и вес завораживают европейцев – те выставляют их в витринах, вместо того чтобы носить. Деньги *сами по себе* ничто. Они – все, только когда их последовательно превращают в вещи, все больше и больше вещей.

В семье Али передают из уст в уста одну историю, ей несколько сотен лет, и она доказывает, что так поступать мудро, а бережливость, милая сердцу французов, – безумие. Ее рассказывают так, будто она случилась только что, потому что в доме Али и в тех, что вокруг, считают, что страна легенд начинается, стоит только выйти за дверь или задуть лампу. Это история про Крима, бедного феллаха, который умер в пустыне рядом с найденной им овечьей шкурой, набитой золотыми монетами. Деньги не поешь. Их не выпьешь. Они не прикроют тело, не защитят его ни от холода, ни от жары. Что же это за добро? Что за господа такие?

По древней кабилской традиции не принято считать щедрот Аллаха. Не считают мужчин, собравшихся за столом. Не считают яйца под несущкой. Не считают семена в большом глиняном кувшине. В иной горной глуши и вовсе запрещено произносить числа. Когда французы пришли произвести перепись жителей деревни, они натолкнулись на глухое молчание стариков: сколько у тебя детей? Сколько живут с тобой? Сколько человек спит в этой комнате? Сколько, сколько, сколько... Руми, христиане, не понимают, что считать – значит ограничить будущее, это плевок в лицо Аллаху.

Богатство Али и его братьев – благословение, пролившееся на куда более широкий круг родичей и друзей. Оно обязало их к солидарности, широкой, концентрической, и сплотило вокруг них часть деревни, которая им благодарна. Но не все счастливы. Нарушено былое главенство другой семьи, Амрушей, о которых говорят, что они были богаты еще в ту пору, когда водились львы. Они живут ниже на склоне, французы лукаво зовут это место «центром» череды семи *мехта*, фермочек, расположенных на гребне горы одна за другой, как рассыпанные жемчужины слишком длинного ожерелья. На самом деле нет никакого центра, нет середины, вокруг которой гуртовались бы эти гроздья домов, даже соединяющая их узенькая дорога – всего лишь иллюзия: каждая *мехта* – это маленький мир под защитой своих деревьев и своих стен, а французская администрация слила эти крошечные мирки в административный округ, *дуар*, существующий только для нее. Амруши сначала посмеивались над усилиями Али, Джамеля и Хамзы. Каркали, что у них ничего не получится: крестьянину-бедняку никогда не стать хорошим хозяином, у него попросту умишка не хватит. Счастье или несчастье каждого, говорили они, написано у него на лбу с рождения. От успеха предприятия Али их перекосило. В конце концов они смирились или сделали вид, будто смирились, со вздохом признав, что Аллах милостив.

И для них тоже тратит и хвалится заработанными деньгами Али. Их успехи перекликаются, их хозяйства тоже. Один расширяет свой сарай – другой пристраивает этаж к своему. Один приобретает пресс – другой покупает мельницу. Нужно ли все это, полезно ли – сомнительно. Но и Али, и Амрушам плевать: не к земле обращены их покупки – они сами это знают, – а к семье напротив. Разве богатство не измеряется досадой соседа?

Соперничество двух семей вносит раскол между ними и между всеми жителями деревни: каждый состоит в чьем-нибудь клане. Оно, однако, не сопровождается ни ненавистью, ни гневом. В первое время это лишь вопрос престижа, вопрос чести. *Ниф* – это понятие здесь значит почти все.

Когда Али оглядывается на прошедшие годы, ему кажется, что небо даровало ему написанную судьбу каких мало, и он улыбается, скрестив руки на животе. Да, все это суцая сказка.

И кстати, как часто бывает в сказках, лишь одно омрачает счастье маленького королевства: у короля нет сына. Вторая жена Али после года с лишним в его постели так и не подарила ему дитя. Две дочери от первого брака подрастают, и каждый день их тонкие голосочки напоминают Али, что они не мальчики. Он больше не может выносить шуточек братьев – оба они уже стали отцами и позволяют себе намеки на его мужские способности. Если честно, он и жену больше не выносит – когда он входит в нее, ему чудится ненормальная сухость, и ее чрево представляется увядшим, выжженным солнцем садом. В конце концов он развелся с ней – тут он в своем праве. Она плакала и умоляла. Ее родители пришли к Али и тоже умоляли и плакали. Мать обещала, что будет кормить дочь травками, которые-де творят чудеса, что отведет ее помолиться на могиле святого, который помогает в таких случаях. Она ссылалась на такую-то и такую-то, которые после многих лет пустоты были вознаграждены непорожним чревом. Говорила, что Али не может знать: возможно, дитя уже сейчас спит в утробе ее дочери и проснется позже, в сезон сбора урожая или даже на будущий год, такое бывало. Но Али непреклонен. Ему невыносимо, что у Хамзы уже родился сын, а у него нет.

Молодая женщина вернулась к своим родителям. Там она и останется на всю жизнь. По традиции теперь Али, а не ее отец должен запросить сумму, необходимую, чтобы отдать ее замуж. Он не хочет за нее денег. Он отдал бы ее за меру ячменной муки. Но случай так и не подвернулся: ни один мужчина не возьмет в жены сухое чрево.



Ее черные глаза тревожно бегают, глядя то на родителей, то на мужчину, которого она никогда не видела, – он представился посланцем ее будущего супруга. В его лице она пытается угадать черты другого, того, кому ее отдает (иногда говорят: продает, это честнее, и никто не обижается) отец.

Между отцом и гостем лежит ковер, на котором разложены подарки ее будущего мужа, диорама женской жизни, супружеской жизни, той, что ее ждет.

Чтобы быть красивой: хна, квасцы, чернильные орешки, розовый камень, который называют *эль хабала*, потому что он может свести с ума и служит для приготовления косметики и любовных напитков, индиго для окраски, но еще и для татуировок, серебряные украшения – и дорогие, и медные: эти ничего не стоят, зато красиво блестят.

Чтобы хорошо пахнуть: мускус, жасминовая эссенция, розовая эссенция, ядрышки вишневых косточек и почки гвоздики, она растолчет их все вместе и сделает душистую пасту, – а еще сушеная лаванда, цибетин.

Чтобы быть здоровой: бензойная смола, кора корня орешника для лечения десен, стафизагрия, отгоняющая вшей, корень солодки, сера, которой лечат чесотку, каменная соль и сулема, врачующая язвы.

Для телесных утех: камфара – говорят, она препятствует зачатию, – сассапариль – его настоем помогает от сифилиса, – порошок из шпанской мухи – афродизиак, который вызывает эрекцию, раздражая уретру.

Для улады рта: тмин, имбирь, черный перец, мускатный орех, укроп, шафран.

Для борьбы со злыми чарами: желтая глина, красная охра, стираксовое дерево, чтобы отгонять злых духов, древесина кедра и пучки травы, аккуратно связанные шерстяной ниткой, чтобы жечь их под заклинания.

Она захлопала бы в ладоши перед этим множеством всякой всячины – чего тут только нет, и все такое чудесное! – перед этим базаром в миниатюре, который принесли к ней в дом и разложили на ковре – о, что за разнообразие цветов и форм! – и упивалась бы крепкими ароматами, не будь ей так страшно. Ей четырнадцать лет, и ее выдают замуж за Али, незнакомца на двадцать лет ее старше. Она не протестовала, когда ей сказали, – но хотелось бы знать, каков он собой. Может быть, она уже встречала его, сама того не зная, когда ходила за водой? Ей тяжело – почти невыносимо, – стоит лишь подумать об этом человеке перед сном, произнести его имя и не представить себе лица.

Когда ее сажают на мула, застывшую, задрапированную в ткани, увешанную украшениями, на миг ей кажется, что она сейчас потеряет сознание. Она почти желает этого. Но кортеж трогается под радостные возгласы, пение флейт и звон бубнов. Она встречает взгляд матери, в нем смесь гордости и тревоги (ее мать никогда не смотрела на своих детей иначе). И вот, чтобы ее не разочаровывать, она приосанилась на муле и удаляется от дома отца, не показывая страха.

Она сама не знает, длинна ли дорога по горам или слишком коротка. Пахари и пастухи на пути кортежа тоже присоединяются к выражениям радости, но ненадолго, и скоро возвращаются к своим занятиям. Она думает – может быть, – что ей хотелось бы стать как они, что она предпочла бы быть мужчиной или даже скотиной.

Вот и дом Али, и она наконец видит его: он стоит на пороге меж двух своих братьев. Ей сразу легче: на ее взгляд, он хорош собой. Конечно, значительно старше ее – и намного выше ростом, и она вдруг бессознательно думает, что человек, говорят, растет всю жизнь, и она тоже через двадцать лет дорастет почти до двух метров, – но держится он очень прямо, у него круглое добродушное лицо, мощная челюсть и нет гнилых зубов. Если рассудить здраво – вряд ли она могла надеяться на большее. Мужчины начинают бузить, выпуская в воздух

первый залп в честь прибытия новобрачной, – у большинства так и остались охотничьи ружья, невзирая на запрет французов. У нее кружится голова от острого и веселящего запаха пороха, она улыбается, думая, что ей повезло, и, улыбаясь, надевает на лодыжку массивный серебряный *хальхаль*, символизирующий брачные узы.

Теперь она в доме мужа. У нее новые братья, новые сестры и, даже еще до брачной ночи, новые дети. Она почти ровесница старшей из своих падчериц, тех, что родились от первой жены Али, однако должна вести себя с ней как мать, заставить себя уважать и слушаться. Фатима и Рашида, жены братьев ее мужа, ей не помогают. Они цепляются к ней с тех самых пор, как она переступила порог дома, потому что новобрачная слишком красива (так она будет рассказывать потом в тесной кухоньке своей малогабаритной квартиры). У Фатимы уже трое детей, а у Рашиды двое. Беременности не лучшим образом сказались на их телах, они грузные, расплывшиеся. Им не хочется, чтобы тело молодой девушки, гибкое, округлое, золотистое, подчеркивало их безобразие. Им не нравится стоять рядом с ней на кухне. Они уважают Али как главу семьи, но постоянно ищут возможности принизить его жену, не нарушив этого первостатейного долга. Так и ступают неуверенно, точно по натянутому канату, постепенно смелея: то скажут колкость, то стянут вещь, то откажут в услуге.

В четырнадцать лет новобрачная была еще ребенком. В пятнадцать она уже *Йема*, мать. И в этом тоже она не чаяла такого везения: ее первый ребенок – мальчик. Женщины, окружавшие ее во время родов, тотчас высунулись за дверь с криком: «У Али сын!» Теперь мужнина родня просто обязана выказывать ей больше уважения. Она подарила Али – с первого раза – наследника мужского пола. У ее постели Рашида и Фатима силятся проглотить разочарование и в знак доброй воли утирают пот со лба роженицы, обмывают и пеленают младенца.

Пережив долгие часы схваток и это рождение, которое, как ей показалось, разорвало надвое ее почти детское тело, молодая мать должна принять у своего одра всех членов семьи – они поздравляют ее и осыпают подарками; из круговерти лиц и подношений – крайняя усталость не дает их рассмотреть – вдруг всплывает *табзимт*, круглая диадема, украшенная красными кораллами и синей и зеленой эмалью, – ее традиционно получает женщина, родившая мальчика. Та, что подарена Йеме, так тяжела, что молодая женщина не может ее носить без головной боли, однако она надевает ее с радостью. Мальчика, родившегося в сезон бобов (то есть весной 1953-го, но настоящую, французскую дату рождения он получит, только когда придется оформлять бумаги, необходимые для бегства), зовут Хамидом. Йема любит своего первого сына страстно, и от этой любви достается и Али. Ей не надо большего, чтобы их брак состоялся.

– Я люблю его за детей, которых он мне подарил, – скажет она много позже Наиме.

И Али любит ее за то же. Теперь ему кажется, что он воздерживался от всяких проявлений чувств к ней, пока не родился мальчик, но с появлением Хамида как будто плотину прорвало в его сердце, и он осыпает жену ласковыми прозвищами, благодарными взглядами и подарками. Этого достаточно им обоим.

Несмотря на обиды, несмотря на ссоры, семья живет как единый организм, сосредоточенный на одной цели – прожить как можно дольше. Она не ищет счастья, разве только лада, и ей это удается. Ритм задают времена года, роды у женщин и у скотины, сбор урожая, сельские праздники. Этот организм живет циклами, без конца повторяющимися, и разные его члены вместе замыкают временные цепочки. Они как одежда в барабане стиральной машины, которая сливается в единую массу текстиля и крутится, крутится снова и снова.



Сидя в тени на одной из скамеек в *таджмаат*<sup>9</sup>, Али смотрит на деревенских мальчишек – разношерстную стайку, в которой смешались все возрасты, роста и цвета волос. Дети Амрушей щеголяют яркой медью, у малыша Белкади на головке белая пена, у остальных черные как смоль кудри, в том числе и у Омара, сына Хамзы, которого Али недолюбливает, потому что тот имел бестактность родиться на два года раньше Хамида.

Они сбились в кружок вокруг Юсефа Таджера, самого старшего из них, – этого подростка только бедность еще удерживает в детстве. Ответственности мужчины он не знает и еще не знал. А ведь он родня Амрушам через бабушку, но те не желают ему помогать и не дают работы: все дело в долге, который его отец так и не вернул. Здесь говорят, что долги лежат у ворот, как сторожевые псы, не давая богатству даже подойти близко. Хотя отец Юсефа умер несколько лет назад, весь его позор перешел на мальчишку – и теперь тому приходится справляться самому в свои четырнадцать лет. Он стал уличным торговцем в Палестро. Как часто говорит Али с презрительной усмешкой: «Никто не знает, чем он торгует и что зарабатывает. Скорее всего, ничего, но чем-то вечно занят по горло». Всегда-то Юсеф то поднимается в горы, то спускается, курсирует между городом и деревней, ловит то автобус, то телегу, спрашивает, кто едет в город, говорит, что ему срочно, по работе, – но при всей этой суете у Юсефа никогда нет ни гроша в кармане.

– Если бы мне платили по часам, – часто говорит он, – я был бы миллионером.

Взрослые мужчины смеются над его бесплодными усилиями, и он предпочитает компанию детей, те его боготворят. В этот день склоненные головки заслоняют центр круга, мальчишки одновременно зал, в котором выступает Юсеф, и публика, которую он покорил. Али недоумевает, что такое они могут прятать за своими маленькими тельцами. Может быть, курят сигареты. Бывает, что Юсеф их им приносит. Однажды Хамза отлупил Омара тростью, потому что, когда тот пришел домой, от него пахло табаком. Али подходит ближе – проверить. Мальчишки пятятся, но не разбегаются – они любят Али и его всегда полные карманы. Просто размыкаются, потому что присутствие взрослого разрывает круг, этот круг мальчишек держится на магии детства и рассыпается, когда старшие хотят к нему приблизиться (от этого иногда щемит сердце у Али, а позже будет и у Хамида: эту границу можно пересечь только единожды и только в одну сторону).

– На что вы там смотрите? – спрашивает он.

Омар, его племянник, показывает маленькую фотокарточку, которую они передают из рук в руки. На ней мужчина с длинной бородой, в европейском костюме и наброшенном поверх бурнусе. На голове феска, должно быть красная, но на черно-белой фотографии она кажется еще темнее бровей. Омар держит карточку в ладони, как святую реликвию или раненую птицу. Юсеф смотрит на него с улыбкой. Его передние зубы сильно раздвинуты, и в эту щель он выпускает дым сигареты. Когда он поднимает глаза на Али, тот видит в них плохо скрытый вызов.

– Ты знаешь, кто это? – спрашивает Омар.

Али кивает:

– Это Мессали Хадж<sup>10</sup>.

– Юсеф говорит, что он отец нашего народа, – гордо сообщает один из мальчиков.

---

<sup>9</sup> *Таджмаат* – площадь собрания мужчин, расположенная в центре села (*араб.*)

<sup>10</sup> Ахмед Мессали Хадж (1898–1974) – алжирский политик. Был близок к коммунистам, потом – к националистам; борел за независимость Алжира.

– Вот как? А что еще говорит Юсеф?

Подросток не протестует против этого завуалированного допроса. Пусть малышня отвечает.

– Он говорит, что, если бы мог, поехал бы учиться в Египет, чтобы примкнуть к алжирскому восстанию, – заявляет один из Амрушей с откровенным восхищением.

– А ты знаешь, где это – Египет? – спрашивает Али.

В ту же секунду в воздух вздымаются десять рук – но все указывают разные направления.

– Ослики вы мои, – нежно говорит им Али.

Он возвращает детям фотографию и удаляется, ничего больше не сказав. Юсеф окликает его в спину:

– Дядя!

Так уважительно обращаются к старшим в этом обществе, где семья представляет высшую степень связей между людьми, а иерархическая вертикаль колонизаторов (отмеченная многократным повторением слова «*сиди*», господин) еще не прижилась.

– Независимость, знаешь, не просто сказка для детей, – выпаливает Юсеф. – Даже американцы говорят, что все народы должны быть свободными!

– Америка далеко, – отвечает Али, подумав. – Тебе-то, даже чтобы поехать в Палестро, приходится просить денег у меня.

– Твоя правда, дядя, твоя правда. Кстати... ты случайно не мог бы отвезти меня туда завтра?

Али улыбается ему. Не может удержаться: любит он этого паренька – может быть, просто потому, что его не любят Амруши. А может быть, за веселую удаль Юсефа, которую не сломить даже нищете вдовьего сына. Али говорит себе, что осенью, во время сбора урожая, он предложит ему поучаствовать в уборке или заняться одним из прессов. Надо будет просто последить за парнем, чтобы не слишком приближался к женщинам. Его хорошо подвешенный язык часто и обидно подкалывал и мужей, и отцов, и братьев. Он каждый раз легко отделивался только потому, что всем жаль его мать. И есть за что, стоит произнести ее имя, как кто-нибудь непременно добавит: бедняжка. Почти все так и зовут ее в деревне: Фатима-бедняжка.

Вечером за ужином, когда семьи Али, Хамзы и Джамеля собираются за кускусом, Омар спрашивает мужчин, любят ли они Мессали Хаджа. (Он так и говорит «любят ли», а не «поддерживают» и не «выступают за». Он еще не понимает, что такое политический лидер, для него существует только отец.)

– Нет, – сухо отвечает Али.

У Омара сжимается сердце, ведь ответ дяди разверзает между ним и Юсефом пропасть, она может повлиять на его место в компании мальчишек. Юсеф в ней самый старший, а Омар самый младший, так что Юсеф Омара *тернит*. Если он передумает, Омару придется сидеть дома с Хамидом, тот-то еще младенец, и учить его играм для малышек, одна другой глупее. Омару грустно, ведь именно ему Юсеф дал фотографию, и он спрятал ее в свой пояс. Но он знает, что теперь, глядя на портрет Мессали Хаджа, всегда будет вспоминать ответ дяди, что это «нет» ляжет пятном на фото, словно перечеркнувшим лицо старика с глазами гневного пророка.

– Почему? – робко спрашивает он.

– Потому что Мессали Хадж не любит кабилов, – Али тоже употребляет глагол «любить», он не говорит «поддерживать движение», «поощрять регионализм», «одобряет требования». – Для него независимость Алжира означает, что мы все станем арабами.

Омар кивает, сделав вид, будто понял. Но ведь семья его говорит в основном по-арабски (только женщины еще прибегают к кабийскому), да и эту фразу Али произнес на арабском, какой же тогда резон вот так сразу разделять возмущение дяди? Он озадаченно смотрит на

взрослых, которые согласно кивают, даже женщины, стоя передающие блюда. Мальчик отсчитывает несколько долгих секунд, прежде чем решиться спросить:

– А... почему мы против арабов?

Ему надо удостовериться.

– Они нас не понимают, – отвечает Али и, повернувшись к брату, заговаривает с ним о видах на урожай.

Омар тоже ничего не понимает и засыпает со смутным страхом: ведь это может значить, что он араб.



*«Устраниться от борьбы – преступление».*  
*Из первой листовки Фронта национального освобождения, 1 ноября*  
*1954 г.*

С 1949 года Али – вице-президент Ассоциации ветеранов в Палестро. Это мало что значит, там почти ничего не происходит. Ассоциация – прежде всего помещение: зал, предоставленный в их распоряжение французской администрацией. Иногда он пустует. Иногда там собираются люди, играют в карты, в домино, обмениваются новостями. Иной раз приходят с медалями. В этом помещении они ценятся. Там, в горах, это впечатляет разве что детей, которые любят все блестящее, но никто не знает, что означает каждое металлическое украшение, каждая лента.

Для Али это веская причина не возвращаться сразу в горы, закончив работу в долине (представительскую работу, благородную). Он никогда не приводил туда братьев и племянников, а сын еще мал. Ассоциация принадлежит только ему и тем, кто сражался. Такое не делят с семьей.

В тишине и покое этого помещения, только их и ничьего больше, они пьют анисовку. Эту привычку многие вынесли из армии. До 1943 года Али в рот не брал спиртного. Начал он в Италии, во время войны-о-которой-он-никогда-не-говорит (и вот еще что ему здесь нравится: не надо о ней говорить, она и так существует). Это началось как форма протеста, слегка, надо сказать, абсурдная: если армия требует, чтобы солдаты из Северной Африки ели свинину из пайков, поставляемых американцами, – пусть дает им и вино, которого до сих пор они были лишены. Али помнит, что поддержал выдвинувших такое требование вожаков, потому что это были славные парни, а когда оно было удовлетворено, почувствовал себя идиотом перед полным стаканом. Он выпил его, морщась и думая про себя, что речь идет не столько о спиртном, сколько о справедливости. Позже, уже на востоке Франции, были бутылки, спрятанные крестьянами на заброшенных фермах, где они разбивали лагерь, и, главное, такой коварный холод, что без бутылок не обойтись. Али продолжал пить. Даже возвращение в край солнца и ислама не отбило у него вкуса к спиртному. Он знает, что это не нравится Йеме, поэтому пьет только в Ассоциации, раз в неделю, маленькими глоточками, виновато и тем более восхищенно. Некоторые, пристрастившиеся больше, чем он, переходят на спирт для горелок, когда не остается анисовки. А что такого: дешевле и пьянит точно так же. Надо быть руми, чтобы думать, будто спиртное – удовольствие утонченное.

По одному из этимологических толкований слово «буньюль», как пренебрежительно называют североафриканцев, восходит к выражению *Бу ньоль*, что значит Папаша-Водка, Папаша-Бутылка – так презрительно называют пьяниц. Другое связывает его с приказом *Абу ньоль* («Принеси водку») – так распоряжались магрибинские солдаты во время Первой мировой войны, а французы сделали из этого кличку. Если этимология верна, то в предоставленном им зале Али и его друзья весело – хоть и по возможности скромно – ведут себя как «буньюль». Но в этом они, чего скрывать, подражают французам.

В Ассоциации есть два поколения, которые пересекаются, но не смешиваются: солдаты Первой мировой войны и Второй мировой войны. Старики 1914–1918 годов пережили позиционную войну, а те, кто помоложе, – маневренную. Они продвигались так быстро, что между 1943 и 1945 годом пересекли всю Европу: Францию, Италию, Германию. Они были повсюду. Те, прежние, хоронились в окопе долгие месяцы, после чего переходили в другой. Ничто так не похоже, как два окопа. Старикам хотелось, чтобы молодые признали, что их война была

худшей (на самом-то деле это значило – лучшей). А молодым было неинтересно слушать про грязь и Фландрию. Они предпочитали истории про танки и самолеты. И потом, немцы были не совсем немцами, пока не стали нацистами. Вильгельм II – не Гитлер. Между двумя группами установилась определенная дистанция, основанная на взаимном непонимании и соперничестве. Они любезны друг с другом, но общаются мало. Иногда, если два ветерана Первой и Второй мировой оказываются в Ассоциации вдвоем, возникает неловкость, очень легкая, но ощутимая, как будто кто-то из них ошибся дверью.

Председатель Ассоциации – ветеран Первой мировой, старик Акли. Чтобы два поколения чувствовали себя на равных и ни одно не было ущемлено, казалось очевидным, что вице-председатель должен быть ветераном Второй мировой войны. Избрали Али. Акли и Али – звучит. Чаще всего они зовут друг друга «сынком» и «дядя», но иногда на людях кокетничают и обращаются «председатель», «господин вице-председатель», и самим смешно. Армейские чины они уважают, как шрамы на теле солдата. Но все эти гражданские звания ничего для них не значат. Мелкие цапки на уродливой бабе, шутит старей Акли.

Есть и еще преимущества Ассоциации для Али: маленький зал аж вибрирует от информации, которую в деревне не услышишь. Там, наверху, нет радио, только у него одного, и большинство горцев, как и он, неграмотны. Внизу, в долине, новости передаются из уст в уста. В Ассоциации есть люди, умеющие читать и писать, они приносят газеты и обсуждают их. Здесь Али находит национальный информационный бюллетень, который деревня никак не может ему дать.

Здесь, в Ассоциации, он слышит об атаках 1 ноября 1954 года <sup>11</sup> и впервые – о Фронте национального освобождения. В этот день даже различных антенн членов Ассоциации не хватило, чтобы получить достоверную информацию. Никто не знает, откуда взялись эти повстанцы, какими средствами они располагают. Не знают толком, и где они прячутся. Их связи с уже известными национальными лидерами, такими как Мессали Хадж и Ферхат Аббас, туманны для всех ветеранов. Они якобы принадлежат к какой-то третьей линии, но что отличает ее от первой и второй, никому неясно.

Как бы то ни было, несомненно одно: рвануло. Наиболее информированные говорят о десятках нападений, с бомбами и автоматами, на казармы, жандармерии, радиостанцию, бензоколонки. Сожжены фермы колонизаторов, склады пробки и табака в Бордж-Менайеле.

– Еще они убили егеря в Драа-Эль-Мизане.

– И поделом ему, – говорит Моханд.

Егеря никто не защищает, его служба позорна. Пока французы не вздумали сделать леса общественным достоянием, как в метрополии, они были источником дров для всех семей и пастбищами для скотины. Теперь рубка и выпас запрещены, то есть на самом деле лес рубят и скотину пасут, но за это можно схлопотать наказание. Поэтому никто не любит следящих за лесом егерей – те появляются откуда ни возьмись и только и делают, что выписывают штрафы, при этом всем ясно, что часть денег оседет в их карманах. Никто здесь, по правде сказать, не понимает, почему французы так вцепились в ели и кедры, разве что из гордыни, для местных попросту смешной.

Камель слышал – и от этой информации все притихли, она попала в больное место: где оно располагается, я не знаю, но, наверно, прячется рядом с печенью, главным органом на кабийском языке, короче, эта информация попала в то самое место, где помещается честь, честь мужчины, честь воина, их часто путают, – что в одной из атак была убита молодая женщина, жена французского учителя, который тоже пал под пулями.

---

<sup>11</sup> В ночь на 1 ноября 1954 г. началась война за независимость Алжира. Отряды повстанцев атаковали ряд французских объектов. Этот день во Франции называют Красным, или Кровавым, днем всех святых, так как 1 ноября празднуется католический День всех святых.

– Ты уверен, что это правда? – спросил Али.

– Я ни в чем не уверен, – ответил Камель.

Они снова умолкли, задумчиво потирая ладонями бороды. Убить женщину – это серьезно. Существует закон предков, по которому воюют только для того, чтобы защитить свой дом – а стало быть, и женщину в нем, ее царстве, ее святилище, – от внешнего мира. Честь мужчины измеряется его способностью держать чужих на расстоянии от своего дома и своей жены. Иными словами, воюют лишь за то, чтобы не допустить войну в свою дверь. Воюют сильные, деятельные, хозяева жизни: мужчины и только мужчины. Сколько раз жаловались они на французов, когда те их оскорбляли, иной раз неволью, войдя к кабилу без приглашения, заговорив с женой хозяина, поручив ей что-то передать о делах, о политике или военных вопросах, короче, обо всем, что может лишь замарать женщину и выволочь ее – символически – из дома? Почему приходится терпеть те же обиды от ФНО? Конечно, они понимают: в спешке возможны ошибки, – но публично признать ответственность за покушения, стоящие жизни слабым, – это дурной знак.

– Если это их выбор, так пусть мне объяснят, – говорит старый Акли. – А если это брехня, то, боюсь, эти парни ослы.

Ветераны кивают. Все более или менее согласны в этот день: пусть-ка им объяснят.

– Что же теперь будет, как вы думаете? – спрашивает Камель.

Будет то, что написано, думает Али, даже если это не сулит ничего хорошего. Всем известно, что бывает, когда Франция гневается. Колониальные власти уж постарались, чтобы их карательная мощь врезалась в память. В мае 1945-го, когда демонстрация в Сетифе обернулась кровавой баней<sup>12</sup>, генерал Дюваль – уж этот-то мог оценить, как народ поддерживал его, – заявил правительству: я дал вам десять лет мира. Когда район Константина тонул в хаосе и криках, иные члены Ассоциации шагали по Елисейским Полям под звуки фанфар. По широкому парижскому проспекту они шли строем, чеканя шаг, герои родины. Женщины махали им руками и платочками. А в Сетифе изрешеченные пулями тела лежали в ряд на обочинах дорог, пересчитанные французской армией, которая так и не выдаст их точного числа. Они ничего не забыли. Сетиф – имя наводящего жуть людоеда, который бродит около, всегда слишком близко, в пахнущем порохом плаще с окровавленными полами.

От той резни сегодня осталось, судя по всему, единственное видео (показанное Барбетом Шрёдером в документальном фильме о Жаке Вержесе «Адвокат террора»<sup>13</sup>): это почти абстрактные картины – черно-белые движущиеся пятна покрывают и поглощают друг друга, и иногда в них угадываются человеческие лица, белые квадраты на белом фоне, плакаты на девственно-чистых беленых стенах, стоящий мужчина, очень прямой, с треугольником бурнуса на груди. Но главное – есть звук, голоса, топот, слоганы и крики, потом выстрелы, и изображение проваливается во тьму, ничего больше не видно, никого, но звук остался, автоматные очереди не смолкают, и даже – но что я в этом понимаю? – вдали грохочет миномет.

Али выходит из зала Ассоциации и направляется к лавке Клода. В долине у него есть клиенты-французы – хотя и немного, но есть. Эти люди пришли в Ассоциацию, потому что они тоже ветераны. У большинства свои структуры, они не смешиваются с теми, кого зовут туземцами, мусульманами, арабами, а иногда – презрительно – «бико». Бывает, заходят потому, что

---

<sup>12</sup> Столкновения местных жителей с европейцами в Сетифе в 1945 г. унесли порядка 100 жизней. В ответ французы провели карательную операцию, известную как Сетифская резня. Ее жертвами, как предполагают, стали от 6 до 8 тысяч местных жителей. Алжирский президент Абдель Азиз Бутефлика назвал Сетифскую операцию 1945 г. началом геноцида алжирского народа.

<sup>13</sup> *Жак Вержес* (1925–2013) – французский адвокат, защищавший в 1950-е годы алжирскую террористку Джамили Бухиред, обвиненную в подготовке взрывов в кафе. Позднее прославился выступлениями в защиту террористов и военных преступников. Стал известен под прозвищем «Адвокат дьявола». «Адвокат террора» снят в 2007 г.

кого-то ищут, например – солдата, который сражался с ними в одном полку, под их командованием, или им просто хочется поговорить. Клод из их числа: он служил в Африканской армии, Армии В, как ее называли, когда она высадилась в Провансе. Он любит рассказывать, что впервые увидел метрополию благодаря операции «Драгун»<sup>14</sup>. Мелкая ложь, подчеркивающая главное: он считает себя алжирцем.

Клод держит бакалейную лавку в Палестро и, узнав, что Али торгует оливковым маслом, попросил его принести свою продукцию – на пробу. Это один из немногих французов, знакомых Али, который из принципа не покупает у колонов. Клод сохранил в своей повадке что-то детское, сразу вызывающее симпатию: маленького роста, живой и говорливый. Он шаркает ногами, понурился головой, когда чем-то обижен, а когда радуется, расплывается улыбкой до ушей, как будто чья-то большая рука разминает ему лицо.

Французский язык у Али очень и очень приблизителен, а Клод при всем своем желании так и не освоил ни кабилский, ни арабский. Иногда он калечит несколько слов неловкими губами, и Али прячет усмешку, сосредоточенно качая головой. Эти двое толком и не разговаривают. Поначалу бывало неловко: Клод не знал, что делать с великаном-кабилем, который встал посреди лавки и явно не понимает сам, о чем спрашивает, да еще и так смущается, что сам себе отвечает. Он вел торопливый диалог сам с собой, помогая словам взмахами рук, подмигивая и улыбаясь. В тот день, когда Али пришел с Хамидом, Клод забыл о неловкости. Мальчик казался совсем крошечным на огромных ручищах горца. Клоду увиделась в Али отеческая нежность вопреки традиционному мужскому началу – этому своду законов, определяющему статус мужчины там, высоко в горах, этому регламенту, нигде, правда, не опубликованному, так что Клоду негде было бы его прочесть, но который и завораживает и пугает его. В горце он узнал себя, ведь и он отец, исполненный любви. Клод вдовее уже четыре года – его жена умерла, родив их единственного ребенка. Ее портрет висит на видном месте на стене магазина. Ее незыблемо суровый вид как-то не вяжется с глазами Клода – стоит ему только взглянуть на портрет, и они набухают слезами.

Анни, дочурка лавочника, чуть постарше Хамида. Когда дети вместе, они хором лопочут на несуществующем языке, и Клод мечтает о своем доме, каким бы он был, если бы его жена не умерла так рано и они вдвоем наполнили бы его детьми, похожими на них. Иной раз Али оставляет сына Клоду, когда идет в Ассоциацию, и тот сажает его за прилавок, где Хамид сидит, улыбаясь, невозмутимый, как Будда, пока Анни не потребует с ней поиграть. Али никогда не обсуждал это с лавочником, но он жалеет его, ведь у него есть только дочь, и сына он одалживает ему с великодушным жестом, его собеседнику вряд ли понятным.

---

<sup>14</sup> Крупнейшая военно-морская операция в Средиземноморье: речь идет о высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Южной Франции 15 августа 1944 г.



В алеющем жерле глиняной печи Йема печет *кесра*, круглый хлеб для всей семьи. Хамид хлопает в ладоши, как и каждый раз, когда дом наполняется этим густым и теплым запахом. С тех пор как мальчик перестал сосать материнскую грудь, он ест за двоих, перемазывая личико оливковым маслом, и при виде пищи всегда смеется от радости. Мать твердит ему, что он красавец, ее солнышко, ее свет, ее перепелочка. Он смеется еще громче. Али курит сигарету, краем глаза наблюдая за женой и сыном. Он хотел бы видеть насквозь и посмотреть на ребенка, который родится очень скоро – живот Йемы округлился, натянул ткань платья, и ей приходится низко повязывать полосатый передник, на который она время от времени наступает, беззлобно вздыхая, как будто передник – ребенок и то и дело рвется поиграть, а ей уже не смешно. Али хочет еще мальчика. Одного недостаточно, мало ли что может случиться, вплоть до худшего, – все так хрупко. Мужчина, имеющий только одного сына, ходит на одной ноге. Жены братьев по форме живота предсказывают, что будет девочка. Как бы то ни было, скоро он удостоверится: живот Йемы уже так тяжел, что она, когда может, опирается им на стол.

В дом вбегает маленький Омар.

– Дядя, скорей! Всея деревне пора на площадь – слушать каида.

Удивленный Али поспешно гасит сигарету. Каид бывает здесь нечасто. Он предпочитает сидеть в своем большом доме, ниже, в долине, и чтобы все приходили к нему. Как большинство ему подобных, он контролирует дуар извне, опираясь на отчеты аминов<sup>15</sup> и егерей, чтобы держать руку на пульсе территории, которую поручил ему французский чиновник (лучше будет сказать «сдал внаем», все знают, что каид дорого заплатил за свою должность «сельского комиссара»). Правительственная нота 1954 года напоминает, что ему полагается «информировать, надзирать и предусматривать». Спросить жителей деревни – так он вместо этого карает и ворует, всегда через посредников. Видят его мало, но любят еще меньше. Говорят, что и он никого не любит, только золото и мед. Али тоже не нравится этот человек, но он знает, чем ему обязан: ему никогда не удалось бы поставить свое хозяйство на широкую ногу, воспротивился этому каид. А тот никогда не дал бы своего согласия, не окажись его жена дальней родственницей Али. Он позволил ему купить надель высоко в горах – его это место не интересовало, – потому что свалившееся с неба богатство этого человека, который – отдаленно, очень отдаленно, – является членом его семьи, позволило ему противостоять амбициям Амрушей, слишком долго не имевших соперников на этих забытых землях. Теперь каид удерживает равновесие, деля милости и поборы между двумя семьями, и ему не требуется для этого тягостный путь наверх – только джипы французских военных могут, не надорвавшись, захватить в горы. Взамен Али дает ему иногда, если позволяет урожай, немного больше, чем требовалось, а Йема готовит для него истекающие медом сладости к каждому празднику.

Омар сучит ногами в дверях. Он уже предупредил отца и Джамеля (а старшего-то не первым, отмечает про себя Али и думает, что мальчик, решительно, плохо воспитан), и те ждут на улице: на деревенскую площадь они пойдут вместе, медленно, величаво, как им положено по статусу и как требует их физическая стать.

Али берет трость с набалдашником из слоновой кости, она вообще-то ему не нужна, но прибавляет солидности. Думает, не надеть ли военную форму, чтобы дать каиду понять, что он не просто разбогатевший крестьянин; но в последнее время китель с трудом застегивается на животе, и что останется от героизма, если вдруг отлетит пуговица?

Три брата выходят на площадь, где все расступаются, пропуская их в первый ряд. Они занимают места напротив Амрушей, приветствуя их сдержанными кивками. Те кивают в ответ.

<sup>15</sup> *Амин* – старшина селения (*араб.*).

Каид выходит из машины, только когда все уже собрались – подобно кинозвезде на съемках, до последнего сидящей в гримерной, чтобы заставить всех подождать. Богатство его выставлено напоказ, но строго локализовано в огромном круглом животе, который кажется накладным на этом иссушенном старостью теле и вынуждает его идти и сидеть, откинувшись назад, чтобы толстое брюхо не тянуло к земле. У каида много помощников и слуг, но тут уж бессильны все и вся: каждый шаг – его битва с большим животом, и от этого он всегда в дурном настроении.

– Мой долг как каида этой деревни, – говорит каид, и по рядам жителей сразу пробегает шепоток, где насмешливый, где гневный, – предостережь вас против событий, произошедших в нашей области, о которых вы, возможно, слышали. Занимая столь важный пост в администрации, я особенно хорошо информирован, поэтому прошу вас верить мне и тому, что я вам скажу. Разграблены и сожжены фермы. Взорваны мосты. Эти фермы давали работу феллахам. Эти мосты позволяли им ходить на работу. Теперь многие семьи живут в бедности, не понимая почему, а их кормят листовками. Те, кто это сделал, – бандиты, преступники, и полиция уже идет по их следу. Через несколько недель, самое большее несколько месяцев, они будут арестованы и брошены в тюрьму, где закончат свои дни. Если ваши пути пересекутся, вы ни в коем случае не должны им помогать, кормить их или прятать. Они опасны и могут причинить вам много зла. Эти люди без чести и совести – убивают женщин и детей. Иные из них, наверно, скажут вам, что они муджахиды и сражаются за независимость нашей страны. Не верьте им. Они ничего не знают об Алжире. Ими манипулируют коммунисты из России и Египет. Это предатели, готовые впустить к нам иностранцев, якобы затем, чтобы бить французов. Чего они хотят? Коммунисты будут хуже французов. Они заберут то немногое, что оставили вам румы, потому что не признают собственности. Не признают они и веры. Они захотят отнять у вас ислам. Там, в России, они рушили церкви. Тут сделают то же самое с мечетями. И главное, говорю вам, если вы поможете этим преступным элементам, никто не защитит вас от кары французской армии. Эта деревня станет новым Сетифом...

Каид тоже знает, что это – имя кровожадного людоеда. Он употребляет его, не задумываясь. И головы крестьян едва заметно втягиваются в плечи, спины сутуляются, все боятся призраков, которых приносят с собой эти два слога.

– И Франция вас накажет, – продолжает каид, притоптывая ногой. – А бандиты, которые навлекли на вас громы и молнии, уйдут себе спокойно в подполье, где они спрячутся как преступники – а они преступники и есть, – и оставят вас расплачиваться за них. Я как каид поручился за вас перед французской администрацией. Я пообещал, что не будет никаких беспорядков, заверил, что мы люди порядочные и честные, не бандиты какие-нибудь. Мне удалось предотвратить обыски в домах, которые уже собиралась провести французская армия, – тут, конечно, каид врет: французская армия никогда и не думала наведываться в деревню, за километры от Драа-Эль-Мизана и Бордж-Менайеля, где случились теракты. Но он любит, коль скоро История на сей раз дала ему случай, строить из себя героя: это он-де защищает народ, который платит ему подати и штрафы много лет. – Но я не смогу защищать вас всегда. Так что послушайте меня, не прислушивайтесь к пропаганде бандитов. Защищайте себя сами.

С этими словами он, окруженный подручными, рассекает толпу и садится в машину, которую мальчишки осматривают, осваивают и гладят с тех самых пор, как он раскрыл рот.

После его отъезда круг разбивается: друзья, сторонники и должники Амрушей группируются вокруг них, а друзья, сторонники и должники Али и его братьев подтягиваются к ним. Между двумя толпами остаются люди, не приверженные никому, либо – редчайший случай – те, что хорошо ладят с обеими семьями, либо с обеими в ссоре. Жители деревни обсуждают речь каида – этого продажного и заносчивого пса. Поскольку Амруши знают о родственных узах (очень тонких и отдаленных), связывающих с ним Али, они исходят из посылки, что вся речь – ложь. Поскольку Али знает, что Амруши разделают речь под орех, он чувствует себя

обязанным ее защитить. (Много лет спустя Наима задумается, осознавал ли он, какие колоссальные и пагубные последствия повлечет за собой это стихийное соперничество, и случилось ли ему заново переживать эту сцену, принимая иную точку зрения, или он навсегда увяз в понятиях *мектуб* и *ниф*, как в крепкой паутине.)

Чего Али хочет сейчас – просто сохранить, что нажил. Будущее интересует его лишь как продолжение настоящего. Как будто он несет на вытянутых руках свой мир, семью, хозяйство, затаив дыхание, чтобы, не дай бог, не опрокинуть, не сдвинуть что-нибудь. Он сумел сделать свой бедный дом домом-полной-чашей и хочет, чтобы это длилось вечно. За границами его владений мир кажется слишком туманным, чтобы формулировать желания от своего имени. Ему случалось мечтать, чтобы его дом-полная-чаша вдруг очутился в независимой стране (он хоть и понятия не имеет о чудесном путешествии Дороти, когда смерч унес ее вместе с родным домиком в страну Оз, но представляет себе это событие как-то похоже), то есть в стране, где ему больше не придется вставать и приветствовать каждого проходящего руми, а стало быть, не столько в независимой, сколько в стране, где он сам будет свободен, – а значит, мечта Али и здесь не выходит за рамки его мирка. То, что происходит в горах, важнее всего и нуждается в защите. Нельзя, чтобы французские солдаты поднялись сюда и отняли у горцев то небольшое, что им принадлежит, их счастье, принесенное бурной рекой. Иными словами, французы внушают ненависть, французы внушают страх, и поэтому их так необходимо успокоить.

– Как вы думаете, они поймают партизан? – спрашивает кто-то.

– Конечно, – без колебаний отвечает Али.

Он сражался во французской армии, на его глазах она выигрывала, казалось бы, невозможные бои. Уж перед горсткой мятежников она точно не спасует. И тени – как бывает каждый раз, когда он вспоминает о том, что было там, в Европе, – вдруг пробегают по его лицу, и вот уж ввалились щеки, и на лице десять разных гримас, и ни одной застывшей. Тряхнув головой, чтобы прогнать накопившиеся внутри воспоминания, он бросает коротко:

– Они не могут проиграть.

Старый Рафик – он служил несколько лет на сталелитейных заводах в Верхней Марне – кивает:

– У них есть машины, каких мы в глаза не видели, они производят металлы, о которых мы и понятия не имеем. Что с ними поделает славная армия алжирской независимости? Здесь-то никогда не произвели даже коробка спичек.

Разговор затянулся надолго. Оспаривая уверенность каида, называют имена тех, кто в прошлом укрывался в горах и кого Франции так трудно было изловить, а иных и вовсе не удалось сцапать до сих пор. Старики говорят об Арезки, благородном разбойнике из леса Якурен, о Гранде из Себау, которого французская пресса окрестила кабийским Робин Гудом. Вспоминают, смеясь, что, когда его искали годами, он ухитрился устроить праздник, пригласив больше тысячи гостей на обрезание своего сына, а французские жандармы, которым об этом пиршестве сообщили слишком поздно, нагрянули в деревню и уже никого не нашли.

– Ну и что? – говорит Али. – В конце концов его все равно отправили на гильотину.

Смеркается и резко холодает: таковы ночи в горах. Холод кусает, как маленький невидимый зверек. Но Али остался бы здесь насовсем. Он хочет, чтобы ему сказали, что он прав, а еще лучше – доказали, что он прав. Впервые за долгое время он не уверен в своих речах и мнении. И все же он продолжает. Делает то, что должно. Он вещает. Провозглашает. Представляет.

Поздно ночью, прокричав много часов, Йема родила девочку. Малютку назвали Далилой. Мать любит ее немного меньше, чем Хамида. Отец смирился.



Через несколько лет после смерти жены Клода в Палестро приехала Мишель, его сестра, – помогать брату в магазине. Говорят, что из Франции за ней тянется какая-то неприятная история и ее отъезд – не столько альтруизм, сколько необходимость. Это роскошная женщина, и красота вселила в нее такую уверенность в себе, что Мишель уже сама забыла, как она обязана этой чертой характера своей внешности и производимому ею впечатлению. Она-то думает, что родилась такой самостоятельной – и приводит в доказательство и ранний уход из родительского дома, и добытый упорством диплом, и любовные истории, ни одна из которых ее не поработила. В лоне французского сообщества города она – фигура скандальная и привлекательная. Мужчины Палестро не могут ее описать, эпитеты от нее как будто отскакивают. Они говорят просто: у нее грудь, у нее ноги, у нее губы, и потом – молчание, повисающее вслед за названной частью тела, полное их более или менее тайных фантазий, восхищения и досады. Когда Али входит в магазин, а она стоит за прилавком, он мгновенно теряет дар речи. Мишель, не в пример другим европейкам, не носит ни чулок, ни колготок на своих золотистых ногах. Не прикрывает их от взглядов бельем, тонким, как луковая кожура или пленка пота. Она говорит, что слишком жарко, и, забираясь на первую или вторую ступеньку стремянки, чтобы достать коробку с верхней полки, показывает пятьдесят сантиметров голых ножек, правую и левую, то есть добрый метр кожи, если сложить их вместе, и этого больше чем достаточно, чтобы Али проглотил язык. Зато Хамид перед Мишель не робеет. Он обнимает ее ноги, тянет за юбку, запускает пухлые ручки в ее кудри. Мишель обожает мальчугана, она целует его, гладит, и Али невольно воображает, что это его касаются руки и губы женщины. С тех пор как ему посчастливилось ее встретить, он чаще заходит в лавку, сам себе не признаваясь, почему проводит там все больше времени. Он относит это на счет дружбы Хамида с Анни и пользы, которую она может принести ребенку. Пока деревенские мальчишки царапаются о колючки и острые камни, Хамид спокойно играет с маленькой француженкой, которая обращается с ним как с равным. Али просто думает – слегка кривя душой, – что старается на благо сына, когда приводит его в лавку к девочке.

Клод никогда не жалуется на их визиты, наоборот: он встречает их с радостью и всегда предлагает оставить у него мальчика на пару-тройку часов. Когда Мишель, Анни и Хамид с ним в магазине, Клоду хорошо. Вместе они образуют странную семейку, думается ему, но она как бы отрицает его одиночество и вдовство. В своем кругу он называет Хамида «арабчонком, которого мы почти усыновили». Йема расцарапала бы себе лицо, услышь она подобный вздор, но Клод, никогда не бывавший в горах, вообразил, что мальчугану нужна эта новая семья, и он решил ему ее дать.

Но при всей привязанности к Хамиду лавочник не нарушает один из неписаных запретов колониального общества: публичное пространство здесь отделено от личного. Мальчика и его отца принимают только в магазине, никогда – в квартире над ним, разве что Анни поднимется туда на минутку за игрушкой. И так происходит по всей стране, на всех уровнях: живущие в ней разные народы встречаются, беседуют, знакомятся только на улице, у прилавков магазинов, на террасах кафе, и то не всех, но никогда – или крайне редко – в доме, у семейного очага, который остается сугубо личным пространством. Клод, может быть, и любит мальчика как сына, недаром же он так говорит, но любит он его только на первом этаже.

Там, в магазине, он учит Хамида французским словам, чтобы тот мог здороваться с входящими клиентами.

– Дратуте! – выпаливает мальчик, стоит кому-то войти с улицы, – звучит словно крик сказочного животного.

Реакции бывают разные.

– Вы не боитесь? – спросила однажды покупательница, увидев, как он играет с Анни.

– Боюсь чего? – удивляется Клод.

– Хотя бы из соображений гигиены, – нерешительно продолжает покупательница. – И потом... он может ее похитить.

– Ему три года!

Клод смеется. А даме не до смеха. Для нее арабы вроде зверей, и созревают быстрее французов. В три года хищник уже может охотиться, самостоятельно добывать пропитание, размножаться. Не то чтоб все арабы для нее таковы – но все-таки...

– Старая кошелка, – говорит Мишель, когда она уходит.

– Досидань! – кричит ей вслед Хамид.

«До свидания», – поправляет его Клод с твердой интонацией учителя. Мечта лавочника – чтобы мальчик пошел в школу, когда немного подрастет. Анни уже учится, Клод отдал ее в государственную школу, а не в одно из католических учреждений, куда отдает своих детей большинство французов. Ему хотелось, чтобы его дочь ходила в школу, которая была бы как страна – не обязательно та, где он живет, но такая, в какой он хотел бы жить: для всех. В первый день учебного года он понял, что почти все ученики – маленькие европейцы, сыновья и дочери тех, кто не может платить за частные школы. Редкие же мусульмане (Клод так и не знает, как их называть, он перебрал много наименований, и ни одно ему не нравится) – дети местных тузов, все мальчики, чьи родители уже *офранцузились*. Тут ни встреч, ни равенства, ни веселого братства на школьных скамьях. Для Клода, однако, очевидно, что Алжир можно построить лишь совместными усилиями, а для этого нужно учить всех детей одинаково. Так же очевидно для него, что у Хамида не будет выбора в жизни, если он не получит образования. Это для крестьянского сына – единственное оружие.

Когда он заговаривает о будущем Хамида с Али, тот пожимает плечами. В школе ничему не учат, во всяком случае, ничему такому, что было бы связано с землей – а будущее Хамида неотвратимо связано именно с ней. (Зачем искать другие возможности?) Ремесло землепашца тяжело, даже если приносит богатство, так что пусть лучше дети бегают вволю, пока не впрягутся в работу. Разве это жизнь – просидеть на скамье те самые неповторимые годы, когда они могут пользоваться полной свободой? Хамид еще в том возрасте, когда принадлежность к группе (семье, клану, деревне) необязательно предполагает труд. Ребенку позволено ничего не делать, пусть играет. А вот взрослого человека за праздность будут презирать. Тот, кто ничего не делает, говорят в деревне, пусть хотя бы вырежет себе трость.

В каком возрасте становятся взрослыми – пока не вполне ясно. Хамид еще думает, что детство будет вечным, а взрослые – существа другой породы. Потому-то они и суетятся, ездят в город, хлопают дверцами машины, обходят поля, навдываются к супрефекту. Он не знает, что и ему предстоит однажды влиться в это вечное движение. Вот и играет, как будто больше делать нечего, и это правда – пока. Он гоняется за жуками и бабочками. Разговаривает с козами. Ест что дают. Смеется. Он счастлив.

Он счастлив, потому что не знает, что живет в стране, где нет отрочества. Переход от детства к взрослости здесь крут.



Выбрать свой лагерь – дело не одного момента и не единственного точного решения. Может быть, его даже и вовсе не выбирают, или меньше, чем хотелось бы. Свой лагерь выбирают через множество мелочей, деталей. Думают, что еще не определились, а на самом деле выбор уже сделан. Немаловажную роль играет язык. Бойцов ФНО, например, зовут поочередно *феллаг* и *муджахидин*. *Феллаг* – это бандит с большой дороги, грабитель, убийца, подстерегающий из-за угла. Иное дело *муджахид* – это солдат священной войны. Называть этих людей феллагами, или фелузами, или просто фелами, значит – слово есть слово – представлять их вредителями и считать естественным защищаться от них. А вот счесть их муджахидами значит сделать из них героев.

В доме Али, как правило, их называют просто ФНО, как будто он и его братья чувствуют, что, сделав выбор между феллагами и муджахидами, они уже найдут слишком далеко. ФНО сделал то. ФНО сделал это. Впору представить себе, что этот фронт состоит и не из людей вовсе, что ФНО – некая газообразная субстанция, оформившаяся в тело со множеством шупалец, способное бряцать оружием и выхватывать баранов из стада. Но когда на язык приходит слово, потому что есть надобность поговорить об отдельных людях, а не о спруте, или орле, или огромном льве как общем целом, – тогда Али и его братья говорят «феллага», без презрения, без гнева, просто слово приходит само собой. Но кто может сказать, вытекает ли слово из уже определенной политической позиции, или, наоборот, оно, это слово, и формирует позицию, постепенно откладывая в их мозгах непреложную истину: бойцы ФНО бандиты.

В Ассоциации в этот день их особенно много, и все нервничают сильнее обычного. На столах нет карт. Нет домино. Это импровизированная *джемаа*, собрание для обсуждения недавних событий, которые всех касаются и всех волнуют.

С самого своего образования ФНО запрещает алжирцам иметь дело с французской администрацией, голосовать, исполнять избирательные функции и – главное для собравшихся сегодня мужчин – получать ветеранскую пенсию. Ничего удивительного, ничего нового: такова вот уже десять лет позиция различных националистических движений. Но на сей раз ФНО провозгласил это с большим количеством афиш и листовок в деревне двух членов Ассоциации. Эти афиши гласят: каждый, кто ослушается, – предатель и карается смертной казнью. Потому-то Ассоциация в этот вечер полна, шумна и суматошна. Мужчины хотят обсудить, как реагировать на эти запреты. Листовка переходит из рук в руки, и даже неграмотные внимательно смотрят на нее, хмурят брови, взвешивают на ладони. Вглядываются в буквы, покрывающие страницу, точно наколотые на булавки насекомые, надеясь – может быть, – что они зашевелиятся и что-то им скажут, как, кажется, говорят другим.

– Они запрещают даже курить сигареты, – выпаливает кто-то.

Али не может удержаться от смеха. Тот, кто это сказал, испепеляет его взглядом, потом мало-помалу смягчается, повторяет фразу и тоже улыбается. Это несерьезно. Сигареты? Так вот к чему сводится битва за независимость Алжира? К бойкоту табака, который они все курят?

– И как эта хрень избавит нас от французов? – спрашивает Али. – Еще одна головная боль...

– Это как если бы я отрезал себе руку в надежде, что румы будет больно, – говорит ветеран Первой мировой.

Одобрительные кивки.

– Для независимости нужны жертвы, – протестует Моханд (Вторая мировая). – Нельзя просто сидеть на заднице и ждать, что она придет по щелчку пальцев. Вот... – он гасит сигарету о плиточный пол. – Я брошу, если это необходимо. Пустяки.

– А наша пенсия – тоже пустяки? – спрашивает Камель. – Если я перестану ее получать, думаешь, ФНО будет кормить мою семью?

– И потом, кто бы говорил о независимости? Да еще так напыщенно... Независимости ты при жизни не увидишь, поверь мне.

– Французы отсюда не уйдут, – подтверждает Геллид. – Видел, сколько здесь строится? Думаешь, они нам все это оставят?

– Значит, нечего и пытаться? – кривит рот Моханд.

– ФНО ничего не добьется, только посеет смуту. А кому за это достанется? Им? Как же. Нам, конечно.

Сейчас кто-нибудь обязательно это скажет, произнесет имя людоеда. И точно:

– Ты помнишь Сетиф?

– Тысячи убитых! Тысячи! И все это за то, что подняли алжирский флаг. Мы вправе иметь флаг или нет?

– Я никогда его не видел...

– А чей это флаг? Ты думаешь, он наш, кабийский? Думаешь, что арабы будут добрее французов?

– Крим Белкасем <sup>16</sup> кабил.

– Вот Криму Белкасему и отдай твои сигареты, раз он так хочет!

Снова слышны смешки, короче и на более высоких нотах. И Моханд кричит:

– А французы хотят, чтобы мы им отдали всю страну!

Страна, флаг, нация, клан – эти слова они употребляют редко. В 1955 году каждый еще может вкладывать в них разный смысл, кто какой хочет, на какой надеется или боится. Но одно ясно, осязаемо для всех мужчин Ассоциации; мелочь в масштабе Истории, но в этом белом зале звучит во всю силу: чтобы следовать заветам ФНО, им надо отказаться от пенсий.

– Но тогда, – бормочет Акли, – значит, мы сражались зазря?

Он чуть не плачет. Ведь улетучатся не только деньги, но и статус, и все воспоминания, сам смысл существования Ассоциации: эти люди хотят сделать так, чтобы абсурдные боины, в которых они принимали участие, что-то значили. И Акли не переубедить: если пенсия – знак того, что он продался французам, то для него такая продажность – доказательство достоинства, а не наоборот. Пенсия значит, что колонизаторы не могут просто черпать из запасов пушечного мяса колоний, пенсия значит, что тело Акли принадлежит ему, и если он решит сдать его внаем, то вправе получить за это компенсацию. А если этой компенсации нет, чье тогда тело?

– Не ФНО же все-таки?

Али не по себе. Он знает, что для него аргумент необходимости не работает. Он может отказаться от пенсии и продолжать кормить семью, в отличие от большинства собравшихся мужчин. Но хоть голод и не грозит ему непосредственно, почему он должен урезать свои доходы? Чтобы избавиться от неловкости, он обращает ее в альтруизм:

– А солдатские вдовы, – спрашивает он, – им что, тоже отказаться от своих пенсий? У них больше ничего нет. Мужчин не осталось. Дети растут без отцов. Что будет делать ФНО – женится на них и станет обрабатывать их земли?

– Я уверен, что, походив месяцами по лесам, многие из них с удовольствием *обрабатывают их земли*, – говорит с улыбочкой Геллид.

Кто-то хмыкает, кто-то хмурит брови.

– Дай мне спелых фиг, напои водой из родника твоего, – напевает Геллид, – отвори врата твоего сада.

---

<sup>16</sup> Крим Белкасем (1922–1970) – алжирский борец за независимость и политический деятель, министр обороны Алжира (в изгнании; 1958–1960), министр иностранных дел (в изгнании; 1960–1961) и министр внутренних дел Алжира (в изгнании; 1961–1962).

Эту старую песенку все знают, но в этот вечер никто ее не подхватил, и она замирает на губах Геллида, как будто так и надо. Он закуривает новую сигарету.

– Однако после Красного дня всех святых они шибко умничали, – вставляет Моханд, – руми, каиды – все. Они говорили нам, что расправятся с ФНО в один присест. И что теперь? ФНО никуда не делся, он-то и вершит закон в деревнях.

– Я в них поверю, когда сам увижу, – цедит сквозь зубы Али.

– А по мне, век бы их не видеть, – возражает Геллид.

Обсуждение продолжается, но разговор уже пошел по кругу.

Али не говорит о том, что у него есть личные причины остерегаться ФНО. В свои тридцать семь он принимает в штыки молодость мятежных вождей, чьи имена звучат все чаще – одни в газетах, другие только у всех на устах. Да и недостаток образования он тоже принимает в штыки. Для него это разгневанные молодые крестьяне, и с какой стати ему идти за этими людьми, которые ничего не сделали, чтобы заслужить присвоенные ими титулы и звания? Большинство даже не женаты и не главы семей. А еще претендуют на руководство *катибой*, целым регионом, а кое-кто даже и страной. Али хочет, чтобы страной руководил кто-нибудь, кого он уважал бы, и додумывает, боясь признаться самому себе: кто-нибудь не такой, как я. Тот, чье превосходство было бы мне столь очевидно, что я даже не мог бы ему завидовать. Говорят, что перед восстанием 1871 года Эль Мукрани – который до тех пор исполнял и даже предугадывал приказы французов – заявил: «Я согласен подчиниться солдату, но не торгашу». Али чувствует примерно то же самое.

Уходя из Ассоциации, он напоминает присутствующим, что через месяц обрезание Хамида. Али готовит настоящий пир. Уже есть список сортов мяса и блюд. И несмотря на тягостную атмосферу, несмотря на сгустившееся напряжение, он приглашает всех, даже ветеранов Первой мировой, чьи истории похожи одна на другую, даже Моханда, который верит в революцию, как ребенок верит, что найдет корни тумана. Они расстаются на этой радостной ноте, и поэтому всем кажется, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается, а выстрелы гремят слишком далеко, чтобы повлиять на ее ход.



Ночь темна, непроглядна, густа, в такую ночь не различить, что там, наверху, совсем близко в сплошной черноте, темное ли небо или невидимый склон горы. Ночь тиха и глубока.

И вдруг вспыхивает свет в непроницаемо-черной пелене: желтые, оранжевые, красные языки пламени разрывают ночь, ее пронзают тысячи искр. Первый, кто это видит, будит окрестные дома криком:

– Пожар! Пожар в горах!

Тут вспыхивает второй сноп пламени, на склоне, напротив того, что занялся первым.

– Там тоже! Пожар!

Загорается третий, четвертый. Деревня окружена кострами, пылающими высоко в горах, пахнет дымом, слышен треск. В этой ночи неоткуда взяться ничему другому – огни и шумы города за много километров отсюда, – и пламя, вспыхивающее через равные промежутки времени – это не может быть стихийный пожар, – кажется непомерным в пустоте и тишине гор. Однако огни не расползаются, не высовывают красные языки в поисках малейшего пучка сухой травы. Только вздымаются все выше, грозные, но обуздываемые кем-то невидимым.

Люди высыпают из домов. Те мужчины, у кого есть охотничьи ружья, держат их в руках. Кричат и плачут разбуженные дети. Вскоре им начинает вторить осел, и его раскатистый рев эхом отдается от скал.

Три темных силуэта входят в деревню. Когда они совсем близко, их можно различить: эти люди одеты в военную форму и, кажется, вооружены до зубов. Они окружают вышедших на улицу жителей и велют им идти на главную площадь, после чего стучат в двери богачей, Амрушей и Али и его братьев.

– Соберите людей, – приказывают они спокойным, но не допускающим возражений тоном, – надо поговорить.

Брюки из тонкого полотна, которые Джамель в спешке натянул, чтобы открыть дверь, плохо скрывают ночную эрекцию.

– Извини, что потревожил, брат, – говорит один из мужчин с понимающей улыбкой.

– Приведи себя в порядок, – строго велит младшему Али.

Он слышал, что люди из ФНО – скоты. Его удивили их вежливость и приличная одежда. Это уж скорее Джамель в своей непристойной пижаме и с опухшими со сна глазами выглядит животным.

По пути на площадь Али смотрит на огни, окружившие деревню, и прикидывает, на каком они расстоянии. Давние рефлексы вернулись, когда он уже думал, что утратил их, и с ними вместе – страх, холодком пробегающий по спине, тот самый, который он силится сдержать или хотя бы скрыть. На фоне языков пламени он видит пробегающие силуэты, в этом смутном и дрожащем театре теней прямые только тени ружейных стволов. Сколько их? Двадцать? Пятьдесят? Сто? Они в непрерывном движении, сосчитать невозможно. Мужчина – по видимому, глава отряда ФНО – перехватил взгляд Али.

– Да, – говорит он, – нас много, – и добавляет с такой торжественностью, что Али чудится в ней ирония: – Мы – народ.

Только у этого человека в руках автомат «Стен»<sup>17</sup> – Али узнает его сразу (даже Наима, и та узнала бы его: это оружие участников Сопротивления во всех фильмах о войне, которые она видела). У него исхудавшее, как у всех партизан, лицо, выдающийся нос, слегка запавшие глаза. Он гладко выбрит, чего с ним, должно быть, давно не случалось: кожа из-под щетины

---

<sup>17</sup> STEN (акроним по именам разработчиков) – британский пистолет-пулемет, созданный в 1941 г. Находился на вооружении английской армии до начала 1960-х годов.

проступила белая и тонкая. Она блестит в свете пламени. На фоне этой нежной бледности особенно ярко выделяются густые темные усы, идеально обрамляющие верхнюю губу. Этот человек соизволил предупредить о своем приходе, и это успокаивает Али: если он хочет произвести хорошее впечатление, значит, пришел не для того, чтобы их убить.

Двое других внушают меньше доверия. У одного гноятся глаза, у второго рассечена бровь, отчего взгляд косит. Только усатый, которого эти двое зовут лейтенантом, соответствует сложившемуся в голове у Али образу воина. Остальным разве что кур воровать. Он чувствует, что лейтенант думает так же и нервничает от близости двух подручных: он все время посматривает на них.

Вся деревня собралась, лейтенант велит толпе сесть и сам садится по-турецки. Али отмечает, как гибки его движения, и думает, что его костистое тело, тело оголодавшего, отнюдь не утратило мускулатуры. В этом человеке есть что-то от хищника. Али не знает, что военные и французская полиция зовут его между собой Таблатским Волком. Это прозвище ему очень идет. Скоро его подхватит и пресса. Обращаясь к толпе, лейтенант не представляется. Он идет прямо к цели:

– Мы ушли в партизаны, чтобы сражаться во имя нашей страны. Мы здесь, чтобы противостоять французам, потому что пришла пора нам завоевать независимость или погибнуть в бою. Вчера нас была только горстка, мы прятались. Франция воспользовалась этим, чтобы обогатить и оклеветать нас. Она попросту пытается вас обмануть. Мы не воры и не бандиты. Мы муджахиды, бойцы. Это Франция вас грабит, Франция вас убивает. Сколько невинной крови на руках у французозов? Франция долго преследовала нас. Но нас так и не нашли. Сегодня мы выходим сами. Смотрите: мы не преступники! Мы такие же, как вы: кабилы, мусульмане, и, главное, мы хотим быть свободными. Это наши горы. Эта земля (тут он зачерпывает горсть песка и камешков, взвешивает их в ладони и улыбается), эта земля суха, скудна, но она наша! Оливковые рощи, источники, козы, нивы, виноградники в долине, пробковое дерево, руда, которую они добывают из вспоротой земли в Бу-Медране, разве это все не наше?

Деревня колеблется между восторгом и страхом. Восторгом, потому что все согласны: французы не имеют никакого права на то, что дает кабилам земля гор. Страхом перед этим «мы», слишком легко слетающим с губ человека, которого никто здесь никогда не видел.

– Мы богатая страна. Франция заставила нас об этом забыть, потому что все приберегла для себя. Но когда французы уйдут, будет рай. Время пришло. Вам нечего бояться. Мы сильны, у нас есть оружие, и мы не одни. Тунис, Марокко, Египет нам помогут. Поверьте мне: французы скоро уйдут, хотя они этого или нет. Это не мятеж. Это Революция.

Радостные крики взмывают над площадью, и, не видя, что происходит, женщины в домах отвечают звонким эхом, которое сквозь глинобитные стены тоже летит ввысь в темной ночи, до высокого пламени костров, до самых звезд.

– Мы гордый народ, – продолжает лейтенант, – народ, единый в борьбе. Революция – дело общее. И вы тоже поможете прогнать захватчика.

– Как? – спрашивает Али.

Лейтенант поворачивается к нему, мерит взглядом (стоит ли отвечать сейчас?), потом склоняет голову набок.

– ФНО не требует от вас, чтобы вы сражались, не сегодня. Но вы можете предупреждать нас о действиях французской армии, об их передвижениях в горах, о местах, где они ставят кордоны. Ты...

Он показывает на Валиса, юного сына Фарида Белкади, и тот выпячивает грудь.

– Ты будешь дозорным.

Валис по-военному отдает честь. Что-то не нравится Али в этой сцене. Валис стоит с гордым видом, но трудно скрыть, что он ждал этой новости, а может быть, и с этим человеком

уже знаком. Али незаметно озирается. Сколько здесь еще таких? Что, если кто-то привел ФНО в деревню? Кто? И в обмен на что?

– Ты, – снова говорит лейтенант.

Его палец указывает на одного из сыновей Амруша. Али чувствует, как замирает его сердце, словно вся кровь вдруг стала холодной и вязкой.

– Ты будешь собирать налог. Отныне вы больше не станете платить каиду – этому продажному псу французов. Мы организуем в деревне сбор революционного налога. Я обещаю вам, что он будет справедлив, но уверяю, что он необходим. Если нашим людям понадобится отдохнуть здесь перед партизанской вылазкой, вы предоставите им кров и пищу. Они сражаются за вас. За Алжир. Да здравствует Алжир!

Эти слова вновь встречены радостными криками. Умелый оратор, думает Али: вздымает грудь толпы так быстро, чтобы люди не успели задуматься, во что им обойдется то, о чем он просит. Знал он таких, десять лет назад, по ту сторону моря.

– Да здравствует алжирский Алжир! – кричит вся деревня.

– Да здравствует Кабилия! – надрывается один старик.

– Да здравствует алжирский Алжир! – еще громче откликаются оба подручных лейтенанта.

Старик не дает отнять у себя слово и затягивает нараспев:

*Я поклялся, что от Тизи-Узу  
До самого Акфаду  
Никто не навяжет мне свой закон.  
Мы согнемся,  
Но не сломаемся.*

Стихи Си Моханда<sup>18</sup> подхватывают хором. Пока все радостно гомонят, муджахид достает из своей котомки Коран, а из-за пояса – длинный кинжал.

– А теперь, – говорит он, – поклянитесь, что все мы братья, все едины в борьбе и вы никому не скажете о том, что мы здесь были.

И вся деревня клянется в единодушии, какого раньше за ней не наблюдалось, клянутся Али и старший Амруш, Валис-дозорный, юный Юсеф, крича громче всех, и маленький Омар с незнакомой доселе серьезностью.

– Хорошо, – кивает лейтенант. – Коран – это хорошо. Данное слово – это прекрасно. Но помните и об этом...

Он перебрасывает свой кинжал из одной руки в другую, не агрессивно, не грубо, а с какой-то веселой удалью. Впервые улыбается, обнажив все зубы, и Али снова видит в нем давешнего хищника, великолепного и грозного.

– Мы не будем тратить пули на предателей, – просто заключает он.

С этими словами он встает, давая понять, что собрание окончено. Жители деревни, еще разгоряченные, смотрят на него удивленно. Им кажется, будто музыка смолкла посреди танца. Им посулили Революцию, они поклялись в верности борьбе, но все подробности остались скрыты от них за семью печатями. Они не хотят отпускать троицу. У них еще множество вопросов. Например: каков план Революции? Какой следующий этап? Люди из ФНО отвечают, что ничего не могут им сказать.

– Так тебе же лучше, брат. Ты ничего не расскажешь французам, если тебя будут допрашивать.

---

<sup>18</sup> Си Моханд оу-Мханд н Ат Хмадуш, также известный как Си Мханд (ок. 1848–1905) – берберский поэт, уроженец Кабилии; во Франции его называли кабийским Верленом.

Кто-то хочет знать, что будет, если армия прослышит об этом визите, узнает об их клятве и захочет отомстить. Как тогда предупредить ФНО?

– Никак, – отвечает усатый муджахид.

– Вы нас не защитите?

Тот медлит с ответом.

– Вам ничего не грозит, – говорит он наконец.

– Мы сможем уйти в леса с вами, если нам будут угрожать?

Поправив «Стен» на плече, лейтенант делает знак своим людям. Они покидают деревню строевым шагом, и их быстро поглощает ночь. Огни в горах почти одновременно гаснут, силуэты исчезают. Как будто все это деревне приснилось.

Али не возвращается в дом и не ложится рядом с Йемой. Он идет под оливами, глубоко вдыхая ночной воздух. Ему хочется анисовки. Воздух так не успокоит. Снова темно, листья хлещут его по лицу, ноги спотыкаются о корни и сломанные ветки. Раз за разом он вспоминает все, что произошло. Али не может отрицать, что кричал и клялся, как все. И дело не в речах – человек ему понравился. За этим человеком он мог бы последовать, не стыдясь, да. Но, не в пример большинству жителей деревни, которых эта сцена впечатлила до такой степени, что они ждут независимости буквально на днях, Али не убедили слова лейтенанта о мощи ФНО. Ему трудно поверить, что соседние страны доставят винтовки и автоматы прямо сюда, в их горы. И если бы Египет посылал оружие, разве эти люди не были бы вооружены лучше? Али видел только один «Стен» на плече главаря, а его подручные довольствовались охотничьими ружьями. Он рассуждает, прикидывает и говорит себе, что для прихода сюда мятежники постарались предстать в наилучшем виде, об этом говорили безупречная военная форма и свежесбритые лица, а значит, они взяли с собой и свое лучшее оружие. У тех, что остались в горах, наверняка только крестьянские пугачи. И потом, остается вопрос боеприпасов. Али знает, как трудно их достать: у самого давно нет. Французы ввели ограничения. Если ружья зарегистрированы, патроны к ним можно покупать только раз в год, и все. Хочешь – ищи порох на черном рынке и делай их сам. Али пробовал, и через раз эти патроны взрываются в лицо стрелку. А остальные рассыпаются в стволе от удара бойка.

Али садится в беседке, укрывающей новый пресс, этот технически совершеннее того, что принесла река. Слышит, как совсем рядом жует осел. Он закуривает сигарету и в свете пламени видит, как постарели его руки, ставшие со временем пухлыми и дряблыми. Сможет ли он еще сражаться?

Десять лет назад ему пообещали, что на войне он станет героем. Он не может думать об этом без дрожи. Он знает, что обещания тем и хороши, что должны маскировать риски и прихорашивать смерть. Ему страшно. Он не предполагал, что проживет так долго, чтобы война снова постучалась в его дверь. Наивный, он говорил себе: война каждому поколению своя.

Но верит ли он лейтенанту с повадкой волка, когда тот утверждает, что час настал, что война началась? Будь у ФНО чем вооружить деревни, он бы, конечно, это сделал: поднял бы всеобщее восстание. Однако сегодня лейтенант скорее спешил остановить мужчин, которые хотели уйти в леса. Почему? Али уверен, что им не хватает оружия и организация слабовата, чтобы обучать новых рекрутов.

– Ты видел, сколько их было? – спросил Хамза наутро.

От танца костров в горах у него перехватило дыхание. Он не догадывался, как его старший брат, что это была всего лишь мизансцена, разработанная, чтобы произвести впечатление: задуманная, чтобы на нее смотрели издали, вблизи она утратила бы всю магию, словно трюк фокусника.

– Когда ты в темноте проходишь трижды в одном и том же месте, тоже кажется, что прошли трое, – ответил Али, пожав плечами.

Он все решил этой ночью. Ему нужны доказательства, чтобы поверить в борьбу. Без уверенности, что он на стороне победителей, он не пойдет. С него хватит.



Йема беременна третьим ребенком, и подготовка к празднику вымотала ее. От пота хна, которой окрашены ее волосы, собирается в складках на шее и рисует темные ручейки на ее золотистой коже. Склонившись над тазом, она моется на скорую руку, чтобы успеть вернуться к сыну до начала церемонии. У нее болит спина. Она долго и тщательно готовила кускус с помощью золовок и невесток. Ей еще нет двадцати, но она чувствует себя старой. Да она и не знает, сколько ей лет. Знает только, сколько у нее детей, и с появлением третьего она станет старухой.

Она едва успевает с опаской поцеловать Хамида, и тут ее гонят прочь. Мальчик остается в доме с отцом и дядьями; настоящие горцы, в традиционных одеждах они похожи на грандиозные сувенирные статуэтки: кабилы ради такого случая с удовольствием гримируются под кабилы. Первым делом приходит парикмахер и приступает к стрижке. Он срезает только одну черную курчавую прядь, но этот жест символизирует начало процесса, завершение которого для мальчика означает конец детства. Потом мальчику басовитыми голосами рассказывают, каким мужчина должен быть; скоро он тоже станет мужчиной. Отвага, говорят они, благопристойность, гордость, сила, мощь. И эти слова донимают мальчика, как слепни.

Анни учит в школе, что Средиземное море пересекает Францию, как Сена пересекает Париж.

Когда мужчины выходят из комнаты, женщинам снова разрешается войти. На Хамида ливнем обрушиваются поцелуи и похвалы. Ему дают корзинку, полную сладостей, крошечных, тающих во рту, и Хамиду явно нравится черпать из нее липкими от меда пальцами. Йема смотрит на него, и у нее щемит сердце. Она знает, что ее сыну неведомо, какая боль его ждет. Он радуется этой церемонии, потому что ему сказали, что после нее он станет большим, но он еще не знает, как бывает больно, ему случалось разве что оцарапаться о камни и колючки. Он, наверно, так и представляет себе, что будет завтра: еще одна царапина, только и всего. Но особенно грустно Йеме оттого, что после церемонии Хамид будет уже не ребенком – то есть существом неопределенного рода, – но мужчиной или, по крайней мере, мальчиком. А это значит, что он не сможет больше быть при ней, держаться за ее юбки, его нельзя будет ласкать. Теперь он будет сыном Али, его правой рукой, его будущим. Завтра она его потеряет, а ведь ему всего пять лет.

– Ешь, сынок, ешь, – шепчет она.

Анни учит в школе, что Рене Коти<sup>19</sup> – президент Республики. Учительница показывает детям его портрет. Анни находит, что он для этого слишком стар.

Наевшись, Хамид протягивает правую руку, чтобы ее окрасили хной. Женщины поют:

*Твои ручки окрасятся хной  
И будут руками мужчины, мудреца.  
О милый братик, как ты спишь  
В твоей постельке принца, короля!*

Клод выносит из магазина стол и нежится под последними лучами солнца на улице.

---

<sup>19</sup> Рене Коти (1882–1962) – президентом Франции в 1954–1959 гг.; его сменил на этом посту Шарль де Голль.

Хамида укладывают, как только он проявляет первые признаки усталости. Вокруг него столпились сводные сестры, тетки, кузины, шурша тканями и позвякивая украшениями. Они нашептывают ему на ушко сказки про мужчин – отважных воинов, про женщин – жемчужин чистоты, про войну, не знающую измены, и про любовь, не знающую усталости. Он засыпает, улыбаясь, в свою последнюю ночь детства, а праздник продолжается в доме и на улице, под оливами и фигами в полях его отца. Тени деревьев в свете факелов и ламп из кованого железа сливаются с тенями танцующих. Йема устала, спина так болит, хоть плачь, но, несмотря ни на что, она тоже поет и танцует в честь своего первенца, своего солнышка, которого она теряет. Белесый рассвет встает над обессиленным праздником.

Разложив с утра товар, Мишель открывает свежий номер «Пари-Матч». «Бижар<sup>20</sup> наносит молниеносный удар».

Женщины собираются группками, чтобы встретить гостей, которые уже начинают прибывать. Вчерашний праздник был для семейного круга, но теперь двери дома открыты всем, кто хочет убедиться в щедрости Али. Бледные под румянами и сурьмой, Йема и ее золовки, однако, стойко держатся на ногах и для каждого находят любезное слово.

К полудню повсюду в доме расположились мужчины, сидят на диванчиках, на подушках, на коврах, их не счесть: здесь вся родня Али, вся родня Йемы, жители деревни, даже члены Ассоциации поднялись из долины – тяжелый путь и лишняя честь для Али. Все вместе приступают к *ассексу*, традиционной трапезе. Блюда с мясом и кускусом огромны, нести их могут только несколько человек, и они кажутся бездонными, как ни стараются над ними руки и челюсти.

Эта картина, если ее описать, кажется вышедшей из «Одиссеи». Она напоминает песнь, в которой спутники Улисса, пока их капитан спит, режут священное стадо Гелиоса:

*Бедрa они все отсекали, а кости, обвитые дважды  
Жиром, кровавыми свежего мяса кусками обклали.  
Но, не имея вина, возлиянье они совершили  
Просто водою и бросили в жертвенный пламень  
утробу,  
Бедрa сожгли, остальное же, сладкой утробы отведав,  
Все изрубили на части и стали на вертелах жарить<sup>21</sup>.*

Однако посреди этой сцены ликования, когда перестают жевать лишь затем, чтобы расхотаться во все горло, радость Али омрачает глухая тревога, она стоит у него поперек горла и не дает пище пройти в желудок: нет Амрушей. Они не пришли разделить трапезу. Вражда между двумя семьями существует, она всем известна, однако в таких случаях, как сегодня, деревня забывает раскол и становится единым целым. Такие праздники показывают, что соперничество – не кровоточащая рана, а просто условная линия между кланами.

Амрушей нет. Али невольно думает, что виной тому приход в деревню людей из ФНО. С тех пор как член их семьи был назначен сборщиком налога, Амруши решили, что принадлежат теперь к новому лагерю, им нечего жить по заповедям деревни. У них иные повеления, иные. Они приняли логику войны.

Покупательнице, заметившей статью, на которой открыт «Пари-Матч», Мишель тихо говорит, улыбаясь:

<sup>20</sup> *Марсель Бижар* (1916–2010) – французский военный и политический деятель, принимавший участие в войне в Китае и Алжирской войне.

<sup>21</sup> Гомер «Одиссея», песнь XII. Перевод В. А. Жуковского.

– Знала я мужчин, которые наносят молниеносный удар. Скажу вам прямо, хвалиться нечем.

– Подумать только, – отвечает покупательница в том же тоне, – сколько мужчин падают с неба, и до сих пор ни одному не пришла благая мысль приземлиться в моем саду.

Мясо сменяют сладости, и губы, блестящие от жира, покрываются сахарной глазурью, медом, золотистыми хрустящими крошками.

Ритуал разработан как театральная пьеса, опера, и есть, конечно, люки с двойным дном, из которых может появиться *deus ex machina*<sup>22</sup>. Как только исчезает с блюда последний пирожок, с улицы раздаются крики, возвещающие о приходе *хаджема*, обрезающего. Это сигнал для Мессауда, брата Йема: он должен пойти за мальчиком и увести его от группы женщин. Он встает – с той легкостью, какую может позволить себе после пиршества: отяжелел живот и затекли ноги.

Увидев его, Йема крепче прижимает Хамида к груди. Она уже не знает, играет ли отведенную ей в церемонии роль или вправду не хочет отпускать от себя сына. Хамид, мало что понимая, испуганный стонами матери, тоже начинает плакать. Куда девалась уверенность принца и короля. Забыты слова, которые вчера повторял ему отец. Забыта отвага, забыта благопристойность, забыта сила. Мессауд хватается мальчика под мышки. Йема удерживает его за ногу, прикалывает к рубашке серебряную брошь-амулет, целует его. Каждым своим движением она следует ритуалу, хотя больше всего ей хочется, чтобы все прекратилось, и она поет, вернее, рыдает нараспев:

*Делай свое дело, хаджем,  
Да направит Аллах твои руки,  
Не порань моего сыночка,  
Иначе я рассержусь,  
Делай свое дело...*

Мессауд крепко держит племянника, и Йема отпускает его. Женщины вокруг нее подхватывают хором:

*Делай свое дело, хаджем,  
Не то нож остынет.*

*Хаджем* – старый горец, чья дата рождения теряется в глубине времен. Он привык к плачу детей и к слезам их матерей. В углу комнаты он спокойно развязывает узелок, в котором лежат его инструменты: дощечка с дыркой, нож, веревочка с деревянными шариками на концах, семена можжевельника. Али выходит из комнаты. Когда нож будет резать плоть, ни один из родителей не должен присутствовать. Мальчик должен один, по крайней мере, без их помощи справиться с первой в жизни мужчины болью. Хамид в руках у своих дядьев: Мессауд, брат матери, отдает его Хамзе, брату отца, и тот сажает его на колени. *Хаджем* раздвигает ноги мальчика и ставит на пол блюдо, наполненное землей, для крови и крайней плоти.

Когда он берет пальцами конец пениса и вводит в него семя можжевельника, чтобы защитить головку, Хамид начинает кричать, не сдерживаясь, во всю силу легких. Он больше не хочет быть мужчиной. Он зовет отца и мать. Все вдруг стало ловушкой: новая красивая одежда, еда, смех и песни. Все это для того, чтобы отрезать ему пипиську. Что бы ему там ни рассказывали, теперь он *знает*, что ее всю, просунутую в отверстие дощечки, старик отхватит ножом.

---

<sup>22</sup> Бог из машины (*лат.*) – выражение, означающее неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации, с привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней фактора.

(Двадцать лет спустя Наима будет так же горько плакать, когда отец впервые сыграет с ней шутку, будто оторвал ей нос, и покажет в доказательство кончик большого пальца между указательным и средним. И при виде плачущей дочери Хамид смутно вспомнит свой страх перед обрезанием.)

Ему пять лет, и он думает, что умрет от жестокого увечья. Ему надо выбраться отсюда. Он бьется на руках у Хамзы, который не может его удержать и шепчет на ухо в неловкой попытке успокоить:

– Если будешь вертеться, он отрежет лишнего.

Хамид заливается слезами с удвоенной силой. За дверью Йема рвется в дом, чтобы спасти сына. Женщины удерживают ее. Разве ты не хочешь, чтобы твой сын стал мужчиной? Позже, хочется сказать Йеме, позже. У него вся жизнь впереди. Пусть только перестанет плакать. Разве вы не слышите, что ему страшно? Что ему еще нужна мама?

А в доме старый *хаджем* смотрит Хамиду прямо в глаза, и взгляд у него ласковый.

– Я отрежу только маленький кусочек, – объясняет он. – Он мешает твоей пиписке расти.

Когда я его уберу, ты сможешь развиваться как мужчина.

Хамид, весь в слезах и соплях, чуть-чуть успокаивается.

– Чак, – говорит *хаджем*, улыбаясь, как будто все это славная шутка.

И подкрепляет слово делом. Земля в блюде тотчас впитывает брызнувшую кровь, а крайняя плоть уже лежит на темной поверхности, как не донесенный до рта кусок на пиру.

Реакция Хамида двойственна: в первый момент он с облегчением констатирует, что большая часть его пиписки осталась на месте. В тот же миг он чувствует боль, как удар хлыста. Хочет было снова закричать, но дядья уже его поздравляют: «Ты держался молодцом. Ты отважный маленький мужчина. Мы гордимся тобой». До обрезания он еще мог позволить себе разнюниться, но теперь? В этот день, сам того не сознавая, он начинает новую жизнь, жизнь, в которой будет стискивать зубы и кулаки, жизнь без слез, жизнь мужчины. (Позже он машинально будет иногда ронять: «Я плакал», говоря, что способен волноваться, но на самом деле глаза его высохли в пять лет.)

Старик тщательно моет руки, потом готовит пасту из сосновой смолы и масла и наносит ее на головку. Мальчик кусает губы, чтобы не застонать. Наконец жестами волшебника *хаджем* отбивает верх у яйца и вводит в него пенис ребенка. Все мужчины по очереди встают и бросают банкноты в руки новообрезанного. За дверью вновь звучат голоса женщин, флейта и барабан. Хамид стал мужчиной.

– От Фландрии до Конго, – старательно повторяет Анни отцу за обедом, – везде царит закон, и закон этот – закон французский.

– Что ты говоришь, милая?

– Это стихи Франсуа Миттерана.

Когда они наконец ложатся рядом после трех дней праздника, Али притворяется, будто не слышит плача Йемы. Спрятав голову под одеяло, она долго рыдает и не может уснуть. В тихом ворковании, которое она издает, глотая слезы, еще столько детского, столько наивности, что Али, смирившись с тем, что спать не придется, обнимает ее, а она шепчет:

– Мой маленький, моя крошка... я его потеряла.

– Ничего не изменится, – успокаивает ее Али, – все будет хорошо.

Он тоже хотел бы, чтобы чьи-то руки, больше, сильнее его рук, – руки Аллаха? руки Истории? – обняли его и укачали в этот вечер и заставили бы забыть гадкий страх, поселившийся в его сердце: Амруши не пришли.



Каменный коридор вертикально поднимается в гору и спускается осыпями, раскидывается известковыми кружевами, углубляется, принимая маленькую речку, которую впитывает и сушит лето. Пейзаж становится похож на декорацию к вестерну. Но когда течет вода, он смягчается струями, водопадами, мелкими волнами. Зеленеет гирляндами и купама. На склонах нежные ранние маки раскидывают кроваво-красные пятна лепестков. Мелкие рыбки и угри скользят в потоке серебристыми отблесками. Четырехкилометровая вереница скал тянется вдоль изменчивого Уэд-Иссера<sup>23</sup> и узкой дороги между водой и горами. Ущелья к северу от Палестро в начале двадцатого века привлекали много туристов и немало поспособствовали развитию города: гостиницы и кафе процветали, принимая гостей в прочной кожаной обуви и шляпах пастельных тонов. Ущелья Палестро входят в число чудес природы, которые мало кому вздумается посетить в наши дни, когда и Палестро больше не называется Палестро, и иностранные туристы бежали из Алжира после «Черного десятилетия»<sup>24</sup>.

Восемнадцатого мая 1956 года подразделение Эрве Артура отправилось на разведку<sup>25</sup>. Большинство в нем – молоденькие солдаты, только что прибывшие в Алжир. Они успели только оставить вещи в так называемом Доме путевого обходчика, подивиться на добела раскаленное солнце и поест за общим столом в столовой, плечом к плечу, жуя в такт. Еще они натянули сетку для волейбола. В этом великолепном антураже мальчишки забыли о форме и подставляют тела солнцу, уже предвкушая, как вернутся домой загорелыми и мускулистыми и будут ходить козырем по улицам своих деревень. Они уже подружились, это легко, когда проводишь вместе весь день. Делают снимки для тех, кому не посчастливилось увидеть воочию эту ослепительную природу. «Вот было бы здорово приехать сюда на каникулы!» – пишет родителям один из парней. Но 18 мая, когда они шли по ущельям Палестро в направлении Улед-Джерры<sup>26</sup>, ущелья эти сомкнули челюсти и перемололи их. Подразделение Артура попало в засаду, расставленную ФНО, и молодые солдатики, их капралы и командир, взятые на мушку бойцами, притаившимися в горах, пали один за другим. Зажатых в тесной горловине со скалистых выступов подстрелить легче легкого. Разведывательная миссия закончилась, едва начавшись, продлившись всего несколько часов.

Молодость ли заставила этих бойцов забыть, что армия, как и ФНО, должна сражаться, убивать, а если придется, и умирать? Или так вышло потому, что в метрополии все еще отказываются употреблять слово «война»? Или оттого, что засада длилась всего двадцать минут, так быстро, что это просто оскорбительно? Не потому ли тела были найдены зарезанными, изувеченными ударами ножей, с выколотыми глазами? Как бы то ни было, этот майский день во Франции запомнят как бойню, которой не мог ожидать никто. В прессе напишут, что трупы солдат из подразделения Артура были выпотрошены и набиты камнями. Что их детородные органы были отрезаны и засунуты им во рты. Журналисты не случайно подчеркнут тошнотворную утонченность этого варварства. Они покажут метрополии, что в Алжире *умирают*, и напомнят: умирать страшнее, когда ты молод, и еще страшнее, если ты изувечен.

Солдаты, оставшиеся в Доме путевого обходчика, и еще многие, расквартированные в этой зоне Кабилии, обезумели от боли и ярости, узнав о судьбе подразделения Артура. Новости

---

<sup>23</sup> Уэд-Иссер – река в Алжире, впадающая в Средиземное море.

<sup>24</sup> Гражданская война в Алжире («Черное десятилетие», «Десятилетие террора», «Годы свинца», «Годы огня») – вооруженный конфликт между правительством Алжира и исламистскими группировками 1991–2002 гг.

<sup>25</sup> Ниже описан эпизод Алжирской войны, известный как «Засада Палестро». Палестро – город примерно в 60 км от Алжира – столицы государства Алжир; не путать с итальянской коммуной Палестро.

<sup>26</sup> Улед-Джерра – деревня в Кабилии.

– реальные и лживые – кусают их, как шершни. Лопаются кровеносные сосудики в глазах. Они кричат.

В мае 1956 года французская армия развернула репрессии вокруг города Палестро: колонны солдат уходят на штурм гор. Мстят. Убивают. Сами знаете, что надо сделать, сказали им в высоких сферах. Когорты мстителей идут в верном направлении, если, конечно, уместно сказать «верном», по крайней мере, в правильном, они движутся в Улед-Джерру, входят в ущелье и рубят-стреляют-убивают, выплескиваясь в Тулмут и Герр. Другие высовываются лишь для того, чтобы ударить-рассечь-убить, все равно кого, все равно где. Никакой стратегической логики в этом нет. Они идут на Бударбалу, почти достигают Цбарбара.

Навстречу этим колоннам, идущим мстить, тянутся другие – колонны крестьян, которые бредут без цели, без скарба, уходят, просто бегут в панике. Будь наблюдательный пункт установлен выше горных вершин, оттуда было бы видно, как склоны движутся во всех направлениях – обезумевший муравейник.

В 2010-м Наима просидела ночь за пивом в пустой галерее с ирландским художником, который выставляет фотографии разоренного Дублина. Предупредив: фильм так себе, он все же настоял, чтобы она посмотрела сцену из «Майкла Коллинза»<sup>27</sup>, и сказал:

– Вот это и есть война за независимость.

На маленьком экране ее компьютера бронированные машины, угловатые, как богомолы, оцетинившись автоматами, въезжают на стадион «Кроук-Парк» прямо во время матча по гэльскому футболу. На стадион пришли семьями, все в белом и зеленом, улыбаются и покрикивают. Это, очевидно, воскресенье. Она видит, как танки ползут по полю. Останавливаются. Один игрок завершает маневр, посылая мяч высоко над башнями этих странных насекомых. Толпа аплодирует. Англичане открывают огонь и стреляют по пятнадцати тысячам человек.

Это и *есть* война за независимость: в ответ на насилие горстки бойцов свободы, которые обучались, как правило, сами, где-нибудь в подвале, в пещере или в лесу, профессиональная армия, бряцающая оружием всех мастей, выходит против гражданского населения, вышедшего поразвлечься.

Впервые в деревню Али въезжает вереница джипов, битком набитых французской солдатней, и на всех лицах – маски гнева. Пинками и прикладами они выгоняют жителей из домов. Приказывают им лечь на землю, руки за голову. Обыскивают дома, переворачивают все внутри, бьют посуду, вспарывают постели. Их грубость столь прихотлива, что очевидно: они сами не знают, что ищут.

Скорее всего, они просто хотят показать, что поняли: горы – это смерть. Туземцы – это смерть. Покончено с каникулами и летними лагерями. Они воют, что бы там ни сказала метрополия.

Али сразу ложится, и братья следуют его примеру. Лежа рядом, три горных великана похожи на выброшенных на берег китов. Старая Тассадит, от преклонного возраста кажущаяся иссохшей мумией, вдова, живущая лишь щедротами Али, не шевелится, когда ей велят выйти. Военные выволакивают ее из дома, осыпая бранью. В ее беспорядочных движениях им видится провокация.

– Она глухая! – протестует Али, приподнимаясь.

И изображает, прижав руки к ушам, глухоту старухи.

– Глухая! Понимаете?

– Заткнись, ты! – кричит солдат, пнув его ногой в живот.

---

<sup>27</sup> «Майкл Коллинз» – военная драма ирландского режиссера Нила Джордана (1996).

Али тяжело падает. Ударившись подбородком о камень, чувствует, как горячая солонватая кровь растекается во рту.

Теперь, вытащив Тассадит из дома, солдаты отнимают у нее палку, и один из них – совсем молоденький, почти мальчик – лупит ее почем зря. Сержант, сидящий на ступеньке джипа, и не думает вмешиваться. На глазах у застывших крестьян кожа старухи становится красной, потом синей, потом черной. Солдат продолжает бить, пока палка не ломается пополам в руке.

– Черт! – кричит он.

– Ты в порядке? – спрашивает другой – кто бы мог подумать, что при подобных обстоятельствах проявляют столько заботы.

Глаза Али на уровне сапог, на уровне хорошо смазанных стволов, летучей пыли, безвольных тел. Он слышит выстрелы, стараясь думать, что стреляют в воздух. Рискует поднять голову на несколько сантиметров в надежде увидеть давешнего лейтенанта-волка. Если у него есть дозорные в каждой *мехте*, он должен был узнать о приезде джипов еще до того, как деревня услышала шум моторов... И если он покажется, Али клянется себе, что больше его не покинет, будет следовать за ним как тень, убьет за него, если понадобится. Раздается новый залп, следом молитвы – их стонут, перемальывают стиснутыми зубами. Али закрывает глаза и ждет.

От долгого лежания его прохватывают жестокие судороги. Даже не верится, думает он, что от неподвижности может быть так больно. Он лежит, и время тянется так медленно, будто и вовсе остановилось. И солнце остановилось в небе, гнетущее, злое, и больше нет ни часов, ни минут. Али неподвижен в неподвижном времени, и ему больно.

– Ладно, довольно! – вдруг кричит сержант.

Солдаты подтягиваются к джипам. Они уже собираются сесть, но в последний момент двое из них принимают о чем-то совещаться с командиром. Али не слышит, что они говорят, но, с трудом вывернув шею, видит, как все трое кивают, и солдаты вновь поворачиваются к жителям деревни, которые так и лежат на земле. Несколько быстрых шагов – и они хватают двух мужчин, тех, что к ним ближе всех. Военный, ударивший Али, смотрит в его сторону, на миг задерживает взгляд на нем, потом на тех, кто рядом. Али понимает, что он ищет его – где этот героический бундюль, посмевавший открыть рот? – но не узнает. Для него здешние жители все на одно лицо. Француз делает несколько шагов к Али, медлит, хватает Хамзу. Али хочет встать.

– Лежи, дурак, – шепчет ему Джамель, ухватив за пояс, – не то нам всем конец.

Али колеблется, не зная, кого защищать. Ведь это его братишку француз поставил на ноги. А другой братишка лежит рядом с ним и умоляет не вмешиваться. А дальше, перед домом, – Йема, Рашида и Фатима, три пары вытаращенных глаз, три срывающихся от слез дыхания. Йема лежит на боку, и ее огромный живот словно положили рядом, до того его полная округлость кажется отдельной от тела. На сей раз невестки уверяли Али, что будет мальчик. Али прижимается к земле всем весом, как будто земля может обнять его и принять.

Хамза слишком большой и толстый, чтобы тащить его одной рукой к машине. Солдату приходится подталкивать его в спину, направив на него дуло винтовки. Ему обидно, что нет возможности показать свою силу, и он отыгрывается, осыпая Хамзу бранью. Шлюхин сын, говорит он. Черножопый. Грязный бико. Козел вонючий. И мать твоя коза. Джипы трогаются в облаке пыли, которая оседает на лицах лежащих жителей. У нее вкус мела и бензина.

Все встают, осматриваются – живы ли родные. Две женщины кидаются к Тассадит. Старуха еще слабо дышит. Они несут ее в дом. У Омара, сына Хамзы, разорвана щека: пуля отколола кусок дерева, который попал ему прямо в лицо. У рыжего Ахмеда висит плетью сломанная рука. Хрустят суставы. Но никто не убит.

– Они знают... – говорит старый Рафик.

Медленно отряхиваясь от пыли, он повторяет:

– Они знают, что ФНО приходил к нам.

– Нет, – отвечает Али достаточно громко, чтобы слышали все, – это просто наказание за то, что случилось в ущельях.

Если бы французская армия заподозрила их в приверженности независимости, вряд ли им удалось бы так легко отделаться. Прознай французы, что произошло в ту ночь, ночь кинжала и Корана, наверняка – к примеру – не пощадили бы Валиса, дозорного, который тоже встает, вращая глазами во все стороны, всклокоченный, с белыми от пыли волосами, словно загримированный под старого сумасшедшего.

– А я тебе говорю, они знают, – упрямо твердит Рафик.

Али с раздражением косится на него. Он-то не сомневается, кто знает о том, что произошло, но не пошевелил и пальцем, – это люди из лесов. Они никого не защитили. Не защитили Али. Не защитили Хамзу.

– Что с ним будет? – плача, спрашивает Рашида.

Йема и Фатима пытаются успокоить ее ласками и уговорами, но она не желает, чтобы ее утешали золовки, они-то мужей не потеряли. Рашида плачет все горше.

– Если они его обидят, я их убью, – заявляет маленький Омар, и царапина на его щеке выглядит как боевая раскраска.

Али, не раздумывая, дает ему затрещину.

– Завтра туда пойду, – говорит он, чтобы успокоить Рашиду. – Надену форму и все медали. Пусть увидят, что мы не террористы. Его отпустят.

На рассвете Хамза вернулся сам, ошарашенный, но невредимый. На нем нет ни следов побоев, ни ран. Он провел ночь в камере, а через двенадцать часов ему открыли дверь без всяких объяснений.

– Я ничего не понял, – говорит он.

Семьи двух других пленников весь день ждут, когда же вернуться и их мужчины. Но дорога под горными соснами пуста и тиха. Никто не вернулся из Палестро. Уступив мольбам и угрозам деревни, амин отправился в казарму за информацией. Всю дорогу он ворчит. Назначенный кайдом, который сам назначен высоким чином, в свою очередь назначенным супрефектом, амин – последнее звено колониальной власти, ее низший уровень. Ему никогда не приходилось требовать ответа у французской армии, и его прохватила медвежья болезнь, когда он попросил о встрече с офицером. Сержант, командовавший колонной французских джипов, принял его учтиво. Он заверил его, что двое жителей деревни были отпущены на рассвете, как и Хамза, даже примерно в то же время. Не понимаю, пробормотал сержант, куда они могли пойти? Амин ломал голову, не издевается ли он над ним. И ответил, что понятия не имеет.

– Если что-нибудь о них узнаете, – сказал сержант, когда он был уже в дверях, – не сочитите за труд, зайдите, сообщите мне. Я беспокоюсь о них.

С сокрушенной улыбкой он помахал ему на прощание рукой.

В деревне амин раз за разом пересказывает эту встречу, медленно, кропотливо, как будто из его рассказа может вдруг явиться ответ, знак. Хамза утверждает, что, когда его вывели из казармы, он был один и двух других не видел. Поначалу ему говорят, что он везучий, радуются за него. Но дни идут, отсутствие двух мужчин ощущается все острее, и на него начинают посматривать косо и перешептываться за его спиной, мол, если он вернулся невредимым, значит, заговорил. Но что он мог сказать?

– Они лучше нас с тобой знают, что происходит в горах, – говорит он Али. – Что такого они могли от меня узнать, не представляю.

И все же по деревне пошел слух, который тут же истово подхватили и раздули Амруши: Хамза изменил клятве на Коране, теперь его ждет кинжал. Несколько ночей Али и его братья, ложась спать, кладут рядом ружья. Но кинжала нет, никто не пришел, и помощи тоже нет – в

чем Али видит доказательство, которое искал: у ФНО недостаточно сил для освободительной войны.

Смерть в горах потрясла до основания повседневную жизнь европейцев в Палестро. Ущелья опустели – нет ни туристов, ни рыбаков, ни художников и собирателей диких цветов. Певучий французский язык охотников за бабочками не разносится больше эхом от скалы к скале. Все больше покупателей косо смотрят на Хамида, когда тот играет в лавке. Некоторые изменили Клоду и покупают теперь у тех, кто этого достоин. Говорят, что хозяин «Центрального кафе» угощает за счет заведения каждого солдата, который принесет ему ухо феллуза. Чего не сделаешь, чтобы выпить фернет-бранка с геройским видом? И рекруты, заваливаясь под вечер, кладут на стойку окровавленный кусок хряща. За Францию, ребята! Вы это заслужили.

Семья Клода больше не выходит на загородную прогулку по воскресеньям. Анни хнычет. Ей хочется посмотреть, как извиваются угри в Уэд-Иссере. В городе жарко. Отец заговаривает ей зубы, солнце-де такое злое, что все рыбы уплыли на дно. Он просит ее потерпеть.

– Все-таки, – говорит он Хамиду, – печально, что выбрали самое красивое место в округе для такой бойни... Это, я бы сказал, эгоистично.

– Эготично, – повторяет Хамид.

Французские слова его смешат. Они похожи на пуки.

В конце лета, когда жара совсем сковала горы и живость осталась только у мух, Йема родила Кадера. Первый крик новорожденного был необычайно тих.

– Он знает, что идет война, – пошутила Фатима.



В сентябре 1956-го Али отправился по делам в столицу. Он ищет квартиру. Официально он хочет сделать последний шаг, отделяющий его от преуспевания, и иметь возможность жить в самом большом городе страны. У крестьянства успех измеряется – как ни парадоксально – удаленностью от земли. Когда на ней работают другие, потом машины, и вот можно больше не гнуть спину. А потом и не проверять самому, что работа сделана на совесть, и вовсе не приближаться к полю. Наконец, поручить другим и продажу продукции. Вообще ничего больше не делать. Быть где угодно. Или нигде.

Именно этот последний пункт и есть неофициальная причина приезда Али в Алжир: он боится, что дела в деревне пойдут из рук вон плохо. Деревню посетили по очереди каид, бойцы ФНО и, наконец, армия, и эти пришествия осквернили святилище, которым она была до сих пор. Возникают нездоровые напряжения. На деревню давят с разных сторон, и, возможно, плотина, выстроенная долгой и неспешной совместной жизнью против внешнего мира, наконец прорвется, высвободив обиды, мишенью которых, Али это знает, может стать и он сам. Алжир с его лабиринтами улиц и десятками тысяч лиц даст ему на время необходимую безымянность. Там никто не обратит внимания на его высокий рост. Назло бойцам, укрывшимся в горах, он уйдет в другие чащобы – в сердце самого большого города страны.

Алжирец, показывающий ему квартиру в Баб-эль-Уэде<sup>28</sup>, Али не понравился. Он задает много вопросов, то и дело заговаривает о деньгах, все считает на манер французов, как будто саму его жизнь можно исчислить по капле. Нет, Али найдет что-нибудь другое. Пока же он прогуливается по центру, наслаждаясь прохладой моря, подступающего к самому бульвару, блуждает среди высоких зданий. Он встречает мужчин, красных от солнца, женщин в легких платьях в цветочек, венчиками вьющихся вокруг ног. Алжир полон их прелестей, их смеха, их длинных волос и ярко накрашенных губ. Он проходит мимо витрин портных, кожевников, мимо рыбной лавки – запах так и бьет в нос, глаз не оторвать от подпрыгивающих чешуйчатых монстров. Сможет ли здесь жить он, горец? А Йема? А дети?

Он бродит, пытаясь представить себе, какой могла бы быть жизнь, не будь все это ему чуждо. Почти улыбается, рассматривая кафе на другой стороне улицы, чистенькое, блестящее, прямо-таки парижское. Впрочем, там пьют даже не кофе – традиция мавров, которую с арабами могли бы разделить и европейцы, – нет, это ЧАЙНЫЙ САЛОН С КОНДИЦИОНЕРОМ, как гласит вывеска. Никогда ноги Али не будет в таком месте. Не потому, что это запрещено, даже не потому, что он не осмелился бы, просто нет такого рефлекса – войти и смешаться с загорелой молодежью, видной ему сквозь витрину, – льняные брюки, юбки по колено, полосатые футболки, непокрытые головы. Быть может, живи они здесь, Хамид свободно заходил бы в эту дверь, чтобы встретиться с друзьями... Али мечтает о будущем сына. Внезапно жгучая оплеуха, нашпигованная осколками стекла, швыряет его на землю.

Толстые стекла витрины «Милк-бара» разнесены мощным взрывом. Мебель с террасы заскользила, разлетелась и упала посреди улицы, как будто она легче перышка. Тяжелыми клубами валит дым. Из дверей, из зубчатых отверстий, бывших когда-то окнами, с воплями вываливаются клиенты. Сначала невредимые. Потом раненые, некоторые ползком. Дети. Много детей. Маленький мальчик, перемазанный ванильным мороженым и кровью, без одной ноги. Его глаза встречаются с глазами Али.

«Я клялся больше не взрывать бомб, – скажет в 2007 году один из лидеров ФНО Ясеф Саади, организатор терактов в “Милк-баре” и других общественных местах, – не из-за погибших, на погибших мне плевать, все там будем, но из-за покалеченных, оторванных рук, ото-

---

<sup>28</sup> Баб-эль-Уэд – коммуна в г. Алжир. Расположена к северу от центра города, на берегу залива.

рванных ног, от этого с души воротило, и я говорил себе: больше никаких бомб, никаких бомб. А потом тебя накрывает... Я все забывал и начинал сызнова».

Внутри повсюду валяются тела. Где-то с полсотни, но Али, смотрящий с другой стороны улицы, не уверен. Все, за что могут поручиться его глаза, – да, их слишком много. До него доносятся хрипы, и сквозь дым он скорее ощущает, чем видит содрогания. Замечает он и полную нелепицу: некоторые стаканы на столах целы, элегантно увенчаны бумажными зонтиками. Они торчат абсурдными деталями в этой куче плоти, стекла и пыли. «За здоровье ФНО, – словно говорят они, – и хорошего воскресенья!»

Али поднимается, оглушенный. Даже не задумываясь, убегает со всех ног. Бежать, пока не прибыла полиция или армия. Он не хочет быть черножопым, оказавшимся не в том месте не в то время. Он бежит так быстро, как только может. Где оставил машину, он не помнит. Он заблудился. Пробегает мимо группы мальчишек, которые играют босиком, гоняя кружащуюся по мостовой консервную банку. Встречает встревоженные взгляды женщин, пригнувшихся к земле под тяжестью узлов с грязным бельем, – они с опаской высматривают за ним фигуры полицейских, их непременно жди следом за бегущим арабом. Распугивает тощих облезлых кошек, которые кормятся из помойных баков да у жалостливых старух. Он ничего не узнает, кружит наобум. Лабиринт улочек и лестниц Алжира стал западней, она захлопнулась за ним и заставляет бежать без цели.

Легкие у него горят и как будто съжились в грудной клетке. Он не останавливается. Он выдержит. Двенадцать лет назад над Эльзасом шел снег, и он выдержал. Выбрался оттуда. Ему кажется, что он снова слышит вокруг немецкую речь, похожую на ругань. Он кричит, стараясь отогнать призраков. И вдруг – вот она, его машина, мирный островок у обочины тротуара. Он быстро садится и, тронувшись, едва не врезается в фургон молочника.

– Вот что бывает, только дай тачку арабу, – лаконично изрекает водитель юному разносчику.

Али едет. Едет, стараясь думать только о том, как держать машину прямо. Он покидает Алжир, а за его спиной вырастают кордоны, контрольно-пропускные пункты, быстро, без задержек. Город захлопнулся, стал мышеловкой. Через несколько дней начнется битва за Алжир. Квартиру Али так и не купит.



– *Бабá*, постой, *бабá*!

Уронив на сиденье пастилу, которую дал ему Клод, Хамид кричит, показывая пальцем на фигуру на обочине дороги.

– *Бабá*, там Юсеф!

Подросток одной рукой держит над головой газету, защищаясь от мелкого осеннего дождика, а другой голосует. На нем только серая рубашонка и широкие штаны, босые ноги покрыты мокрой пылью, уже свалывшейся в корку. С черных кудрей на лоб и шею стекают ручейки. Камю решил бы, что он похож на древнегреческого пастуха, но Хамид просто думает, что ему, наверно, холодно. Али притормаживает и открывает дверцу, не остановившись. Юсеф на ходу вскакивает в машину, широко улыбаясь в знак приветствия. Едва он успевает усесться, как Али дает ему такого тычка в плечо, что парень вскрикивает от боли.

– Я только хотел убедиться, что ты не призрак.

Юсеф не заходил к нему уже три недели. Амин снова спускался в казарму («это входит в привычку...») – ворчал он) и ничего не узнал (это для деревни давно уже дело привычное). Али задействовал свои, параллельные информационные связи в Ассоциации, но тоже тщетно. Никто не знает, куда делся парень, чей тюфячок ночь за ночью остается пустым. Деревня совсем поникла: еще один исчез. Его мать уже подумывает о том, чтобы надеть траур, и к ее обычным жалобам прибавились рыдания. А Юсефу, кажется, и дела мало. Он, как может, утрамбовывает свое тощее тело в мягкое сиденье. С ног на пол машины натекла лужица грязи, и Али морщится. Подросток смеется над его дурным настроением, и Хамид почти машинально вторит ему.

– Дай мне пастилы, – говорит ему Юсеф, обернувшись.

Он кладет конфету на язык с блаженной миной. Grimасничает еще пуще – позабавить мальчишку: закатывает глаза, будто сейчас умрет в экстазе, просовывает розовый кончик языка в щель между передними зубами. Хамид смеется громче, он тут благодарная публика, всегда рад кривляням Юсефа или, вернее, самому Юсефу, если бы даже тот ничего не делал.

– Где тебя носило, бродяга? – вмешивается Али.

– Ох, тебе это не понравится, дядя...

Уважительное обращение звучит в устах Юсефа как никогда иронично. Он ерзает на сиденье, устраиваясь поудобнее, и в зеркальце заднего вида в последний раз подмигивает Хамиду.

– Что ты делал?

– Выбор, – туманно отвечает подросток. – Все сейчас делают выбор.

Али пожимает плечами.

– Ты называешь это выбором? Когда к твоему виску приставлено ружейное дуло?

– Мне надоело ждать, и я сам пошел к ФНО, – говорит Юсеф, пропустив его замечание мимо ушей.

Али ничего не отвечает, но с заднего сиденья, где возится Хамид, раздается радостный возглас:

– Мессали Хадж!

Оба вздрагивают. Через несколько месяцев после обрезания двоюродного брата Омар достал из тайника фотографию вождя Национального алжирского движения и дал ее Хамиду. И сказал, что в его возрасте уже пора все понимать про политику, Египет, восстание, право народов *на самоопределение* и прочее. Речь Хамид запомнил смутно, но имя врезалось в память и всплыло сейчас, когда он услышал, как серьезно говорят с переднего сиденья. Он повторяет его как заклинание, это имя – его доступ к разговорам взрослых.

– Еще чего? – сухо отвечает Юсеф. – С Мессали Хаджем покончено. Он старый. Он боится французов.

Уходи, пророк с глазами как угли. Героям Юсефа теперь лет тридцать, и они любят оружие. Они больше не говорят: вступай в переговоры. Нет, они говорят: этап один, уничтожить чувство безнаказанности колонизаторов, посеять страх. Что до этапа два, там будет видно.

– И что же ты делаешь здесь, о воин Революции? – интересуется Али.

– Когда я ушел от матери – это я попытался пойти в партизаны. Встретил одного парня здесь, в Палестро, и он сказал мне, что его кузен там. Сказал: вот увидишь, он тебя сведет. Ну, ждем парня два вечера, три вечера. Его все нет. Наконец пришел и смотрит на меня, поджав губы, вот так, вроде как думает, что я не гожусь. Чего? Это я его спрашиваю. Не нравится мне твоя рожа, так он мне и сказал. Ну и что? Это опять я. Тебе кто нужен-то? Бойцы или невеста? Ему смешно. Он мне говорит: все равно решаю не я. Я тебя отведу к командиру, но ты зря не надейся, там народ суровый. Я ему: а я и не рассчитывал встретить добреньких. Иду с ним, и он договаривается о встрече с высоким чином. Я говорю кузену парня: о чем меня будут спрашивать-то? Спросят, умею ли я держать в руках оружие? А то я стрелял из охотничьего ружья, было дело, но и все. Зато быстро учусь, говорю я ему, не зря меня прозвали ловкачом. Кузен пожал плечами и говорит: я не знаю. Как же! Отлично он все знал. Там, наверху, еще обыскали меня. Пришел командир, морда зверская. Я ему говорю, мол, хочу с вами. Говорю все, как думаю, мол, мне обрыдло, хочу сражаться, люблю Алжир. Говорю, что у меня нет отца. Франция, говорю, у меня его отняла. Ну, приврал немного, да ладно, кому от этого плохо? Он мне говорит: кого ты знаешь в горах? Никого, говорю, не знаю. Тогда ничем не могу тебе помочь, отвечает он. Я не отстаю, и он мне говорит: на что ты готов? Я ему, мол, готов на все. Отлично, говорит он, возьми это оружие и спустись сегодня вечером в Палестро. Пойдешь на улицу такую-то, номер такой-то, там большие зеленые ворота, а за ними белый дом в три этажа. Войдешь и стреляй во всех, кого увидишь. А чей это дом? Спрашиваю я. А это, говорит, не твое дело. Еще как мое, говорю я ему – я его совсем не боялся, – потому что, сдается мне, это дом супрефекта, и я отлично знаю, что он охраняется. Меня же сразу убьют. А он мне: ты умрешь за свою страну. Я говорю: вот объясни мне, брат, – а сам вижу: ох как его злит, что я его братом назвал, – объясни мне: какая польза Алжиру, если я умру? Что ему придется? Я молодой, сильный и люблю мою страну. Я хочу жить, чтобы строить. Если всех ребят, таких как я, поубивают, кто будет строить твой свободный Алжир? Старики и женщины? Ты ничего не понимаешь, говорит он мне, я тебя не возьму, если только ты не убьешь колонизатора или предателя, так сказал Крим Белкасем. А он кого убил? Спрашиваю я и показываю на кузена парня, того, что меня привел. Кое-кого, отвечает он. Уж точно никого, о ком бы я слышал, говорю я. Это что же получается: других принимают, если они выстрелили в старичка или в осла, а я должен один разбить всю французскую армию? И это ваша справедливость? Из-за тебя будут говорить, что ФНО – это что-то навряд того, как у французов есть элитные клубы, куда и не вступишь, и никто объяснять не станет, по какой причине. А тебя-то чего несет в эти клубы, спрашивает он меня, ты что, любишь французов? Это просто пример, говорю я, для сравнения. А он мне: терпеть не могу поэтов. Я ему говорю, мол, он ничего не понимает. Он мне съездил по морде, и пришлось спуститься с кузеном, а тот всю дорогу поносил меня на чем свет стоит, мол, я повредил его чести, подорвал его репутацию. Веришь, Хамид?

Юсеф оборачивается к мальчику с широкой улыбкой:

– Даже чтобы делать революцию, нужна волосатая рука...

– Не вмешивай его в это, – велит Али.

Хамид на заднем сиденье давно не слушает: он, послунив палец, снимает крупинки сахара, упавшие на его рубашку. Зато Али есть что сказать:

– Твоя мать умрет от тревоги с таким сыном, понимаешь или нет?

– А если я останусь с ней, она убьет меня своими попреками. Понимаешь или нет?

Али смеется, вспомнив Фатиму-бедняжку. Откинув голову на спинку сиденья, Юсеф закрывает глаза. Он не глядя протягивает левую руку назад, и Хамид великодушно кладет последнюю конфету ему на ладонь.



Январское утро 1957 года. Очень холодно – Наима даже не представляла, что бывает такой холод в Алжире, до своего приезда она воображала его выжженной солнцем гигантской пустыней. Воздух ледяной, и Али, несмотря на широкое пальто и шапку из овчины, ощущает его всей кожей. Подняв воротник, он спешит в Ассоциацию. Уже почти пришел, подбадривает он себя, еще несколько шагов, вот он свернет у «Спортивного кафе», минует лавку электрика... Если поблизости будет ошиваться какой-нибудь мальчишка, он пошлет его купить апельсинов и терпеливо очистит их в большом белом зале себе на завтрак. Улица на диво тиха, думает он, видя, что ставни на окнах закрыты.

Труп Акли как будто его и ждет, прислонившись к испачканной красным стене Ассоциации. Глаза ветерана Первой мировой открыты, серы и неподвижны. Он голый. Али инстинктивно отводит глаза, не желая видеть половой орган, – но слишком поздно, чтобы не отметить, какой он до смешного маленький, сморщенный и жалкий. Из рта Акли свисает, как язык у паяца, темно поблескивающая военная медаль. На его груди кто-то нацарапал острием ножа: ФНО. Над его головой на стене та же надпись намалевана кровью, а рядом со стариком картонная табличка, сообщает, что каждого продажного пса французов постигнет та же участь. Али вспоминает слова Акли о том, как он «продал» свои руки французской армии, тогда, на чрезвычайной *джемаа* в 1955-м. Чье тогда это тело, говорил он, если не спрашивать больше с французов платы за его труды? С французов. Получая пенсию, он считал, что вырвался из рабства. ФНО, однако, думал иначе. Как бы то ни было, Али уверен, что люди, убившие Акли, никогда с ним не говорили и называли его продажным псом только из-за его титула председателя Ассоциации, это было как украшение на уродливой женщине, да он сам первый над этим смеялся.

У Акли перерезано горло от уха до уха. Французы называли это «кабийской улыбкой», как будто речь шла о деле привычном, может быть, даже обыденном, в горах – все равно что разведение оливковых деревьев или изготовление украшений. Али, однако, впервые видит такой изувеченный труп. Разверстое горло, словно второй рот, разинутый в громком крике, которого никто не слышал. Али потрясен той близостью убийцы и жертвы, какой требует такая смерть: тот стоял вплотную к старику, даже обнял его, чтобы перерезать горло. Он ощущал тепло его кожи, его пот, его дыхание. Али предпочел бы, чтобы Акли убили пулей.

Старик сказал ему однажды, рассказывая о Фландрии и о своей войне: лошадь в три раза больше человека, поэтому ее смерть в три раза страшнее. Сам он крошечный на фоне окровавленной стены. Бесшумно взрывается бомба, не выходя за пределы тела Али. Осколки печали и гнева отскакивают от его кожи, но остаются внутри, разлетаются во все стороны, бегут по венам быстрее крови. Шрапнель ненависти. Убивай. Мсти. Осколки застряли в плоти, и достаточно малейшего движения, чтобы их разбудить.

Когда на место прибывает маленький отряд солдат, капитан сразу обращает внимание на человека гигантского роста, который наблюдает за всем, кажется, не замечая холода. Металлическая ярость застит ему глаза – это чувство офицеру знакомо, и он знает, что может использовать его в своих целях. Возможно, он даже штудировал учебник типа «Практическое руководство по миротворчеству» или получил директивы, в общем, научился обращать к своей выгоде гнев туземцев. Он велит отвести его в казарму и усадить в своем кабинете.

В углу керосиновая печка; от нее исходит тяжелое тепло. Зимний свет сочится сквозь металлические планки жалюзи. В маленьком помещении с серо-зеленой мебелью, заваленном картами и папками, довольно уютно, но Али нервничает. Он не знает, зачем он здесь. Боится, что его обвинят в убийстве. В теплом пальто он задыхается и обливается потом. Когда капитан

входит в кабинет с переводчиком, его чуть-чуть отпускает. Паренька, который служит переводчиком, он знает, его отец продает кур на рынке. Али не знал, что он *оделся* (этим словом называют в деревне тех, кто вступает в армию). Этот оделся явно с чужого плеча, он словно тонет в форме. Али здороваются с ним.

– Вы знакомы? – тут же спрашивает капитан.

Переводчик с преувеличенной торжественностью – с такой мажордомы в полосатых жилетах у дверей венских дворцов сообщают о прибытии гостей (Наима много таких видела в «Императрице Сисси») – объясняет ему, кто такой Али. Говорит о деревне в горах, о плантациях оливковых деревьев. Али чудится промелькнувшая на лице капитана улыбка, но тот уже отвернулся и смотрит в окно. Когда он снова поворачивается, на лице подобающая случаю серьезность. У него красивые черные волосы, густые и напояженные, напоминающие Али волосы актеров на афишах в кинотеатре Палестро. Его широкое лицо и особенно нос – необычайно подвижный – отражают каждую эмоцию. Кажется, будто маска то опережает его речь, то отстает от нее, лицо не зависит ни от слов, ни от воли офицера и живет в собственном ритме под началом гибкого, подрагивающего кончика носа. Капитан спрашивает:

– А покойного ты знал?

– Да, – кивает Али.

– Ты знаешь, отчего он умер?

Нос движется, живет собственной жизнью, и в этой его свободе есть что-то непристойное. Али смотрит, как он дергается, и не может сосредоточиться на том, что переводит ему толмач.

– Он продолжал получать пенсию, – отвечает он, заставляя себя отвести глаза. – ФНО это запретил.

– Он один продолжал?

– Нет, – говорит Али, – мы все продолжали, – выпрямившись на неудобном металлическом стуле, он заявляет твердо: – Это наши деньги.

– Я согласен, – кивает офицер. – Но ты знаешь, что это значит? Сам понимаешь, они на этом не остановятся.

Али пожимает плечами. Ему почти хочется, чтобы они пришли прямо сейчас: явись они в открытую, он мог бы подрагаться, пустить в ход кулаки, разбить им лица.

– Армия может тебя защитить, – говорит капитан, – защитить вас, Ассоциацию, твою семью. Для этого мы здесь.

– Что ты хочешь взамен? – спрашивает Али. – Я слишком стар, чтобы *одеться*.

Капитан с минуту молчит, раскачиваясь на стуле и пристально глядя на Али.

– Он правду говорит? – спрашивает он, кивком указав на переводчика. – Ты с Семи Вершин?

Али колеблется. Он никогда не называл так свои места. Мания французов все считать ему не нравится – тем более что нельзя жить на *семи* вершинах, надо выбрать одну. Тем не менее он кивает. На лице капитана медленно проступает улыбка, которую он мельком увидел в начале разговора. На этот раз она широкая, шире некуда. Занимает все лицо, тянется до ушей, приподнимает скулы и морщит нос. Офицер возвращает четыре ножки стула на пол и говорит почти с нежностью:

– Мне нужен Таблатский Волк.

– Кто?

– Лейтенант ФНО, что прячется там, в горах. Я уверен, ты с ним встречался. А если нет, ты наверняка знаешь кого-нибудь в твоей деревне, кто сможет мне о нем рассказать. Назови мне имя.

От этой фразы Али вздрагивает, как от пощечины или брани. О таком можно просить детей, обездоленных, паршивых овец, тех, кто не связан с группой узлами солидарности. Но

о таком не просят мужчину, главу семьи, одного из столпов деревни. Он смотрит на офицера с презрением и строго отвечает:

– Я ничем не могу тебе помочь.

– Тогда и я тоже.

Капитан больше не улыбается. В серо-зеленом кабинете ни один из троих мужчин не шелохнется. Даже кончик носа офицера замер. Слышно только, как урчит печка и сглатывает переводчик, которому не по себе.

– Покойный? – продолжает офицер через несколько секунд.

Труп вновь встает перед глазами Али. Особенно отчетливы два места: крошечный половой орган и огромная рана. Он несколько раз моргает в надежде его прогнать, но картина не уходит.

– Это был твой друг?

Али медленно кивает. Картина стала такой четкой, что ему кажется, будто и другие ее видят. Густые красно-бурые пятна. Серая старая кожа.

– Сочувствую тебе, – вздыхает капитан.

Он встает, с металлическим скрежетом отодвинув стул. Переводчик тут же бежит к двери и распаивает ее настежь. Холод врывается в комнату, бьет наотмашь всех троих, и под напором ледяного воздуха у Али мутится в глазах. Он встает так быстро, как только может.

– Ты куришь? – спрашивает его капитан в дверях. – Подожди меня снаружи, я тебе раздобуду блок-другой.

Когда Али расхаживает по двору, дрожа от холода, из казармы высыпают французские солдаты. При виде поджидающего кого-то горца их осеняет идея.

– Эй, псст, эй, Мохамед!

Али с раздражением оборачивается. Солдаты открывают яркие журналы, на страницах – голые женщины, золотистые шевелюры и кудри цвета воронова крыла, высокие дерзкие груди, полные ягодички. Солдаты хихикают:

– Что скажешь, Мохамед? Нравится тебе?

Длинные ноги в черных чулках с замысловатыми подвязками, до предела выгнутые ступни в лаковых лодочках на высоченных каблуках. Али не понимает, чего от него хотят. Он отводит глаза, но солдаты, хохоча, машут журналами перед самым его лицом, и титьки, задницы, киски преследуют его, куда бы он ни повернул голову.

Зачем они это делают? Что себе думают? Али в третий раз женат, он наверняка видел больше голых женщин, чем эти мальчишки, попавшие прямо с ферм в казарму, где внезапно чувствуют себя обязанными строить из себя мужчин и соревноваться в мужественности.

Вернувшийся капитан отгоняет их, как безобидных, но шумных щенков. Солдаты разбредаются, особо не упираясь, а несколько выпавших из журналов страниц так и остаются на земле. Приоткрывается карминный рот. Бюст вот-вот вырвется из слишком тесного кружевного лифчика. Офицер протягивает Али сигареты. Тот уходит, даже не сказав спасибо, – уходит, как ему кажется, с достоинством и молча.

Когда он покидает казарму, переводчик разочарованно замечает:

– Вы не особо настаивали...

Офицер смотрит на него с доброй насмешкой:

– Зачем настаивать? Люди видели, как он вошел сюда. Он говорил со мной. Скоро он поймет, что этого хватит, он скомпрометирован. И тогда он поможет нам.

Мальчишки играют, гоняя кур между тремя домами. Они бегают с дикими криками, а пернатые отвечают возмущенным квохтаньем. Али и Джамель тихо беседуют, глядя на них.

Братья сидят у старого глинобитного дома. Руки Али до сих пор дрожат, когда он вспоминает жалкий труп, выброшенный смертью на белую стену Ассоциации.

– Я не знал, что Акли был предателем, – говорит Джамель.

– Он и не был.

– Тогда за что они его убили? Наверняка сделал что-то плохое.

Али хочется ударить брата – тот ничего не понимает. Он с трудом берет себя в руки (не хватало еще, чтобы война проникла и в лоно его семьи).

– Ничего плохого он не сделал, – отвечает он, – только умер.

Ни о чем нельзя знать наверняка, пока ты жив, все еще может переиграться, но когда ты мертв, рассказ становится незыблем, и решает тот, кто убил. Убитые ФНО – предатели алжирской нации, а убитые армией – предатели Франции. Их жизнь, какой бы она ни была, не в счет: все определяет смерть. Разговаривая с Джамелем, Али понимает, что его поступки больше не важны, пусть он и выбрал молчание, когда сидел перед капитаном, оно ничего не значит, потому что ФНО решит за него, что он предатель, и его люди перережут ему горло от уха до уха. Вся честь, которую Али так берег при жизни, исчезнет по мановению лезвия ножа, и все узнают, что он мертвый предатель.

На следующей неделе он снова пришел в казарму.

– Спроси Амрушей, – сказал он капитану. – Они знают, где тот, кто тебе нужен.

Так он стал живым предателем. И был прав: никакой разницы нет.



– Ты слишком много пьешь, – говорит Клод, продавая Али бутылку анисовки.

– Сам знаю.

Хуже всего, что он пьет один. Никто больше не приходит в Ассоциацию после смерти Акли. Моханд и Геллид заявили, что немедленно отказываются от пенсий – Геллид боялся, а Моханд хотел этого после первой же листовки. Остальные, вероятно, все еще их получают, просто больше не приходят сюда посидеть. Не хотят себя компрометировать. Согласно обещаниям капитана, военные регулярно патрулируют улицу у двери, за которой Али остался один со стаканами анисовки.

После его второго прихода в казарму французы взяли двух сыновей Амруша, сборщика налога и его младшего брата. Али старается об этом не думать. Они сами начали. Что он может поделать? Он ведь должен защитить себя.

Он снова наполняет стакан и ставит бутылку на неустойчивую кипу брошюр. Смотрит на свое отражение в окне – ставни он не открыл. Глаза его пожелтели и стали стеклянными.

Военные, несущие вахту по соседству, несколько лет назад зашли и попросили его выставить в Ассоциации то, что французский политик Робер Лакост назвал в одной своей заметке «богато иллюстрированными брошюрами». Али получил несколько сотен листовок, которые теперь сложены во всех углах помещения. С какой стати ему было отказываться? Он берет брошюру из стопки и просматривает ее, отпивая из стакана маленькими глоточками. Она называется «Истинное лицо алжирского мятежа» – прочесть он не может, но один солдат ему сказал – и посвящена резне в Мелузе. Там, на высокогорных плато к северу от Мсилы, ФНО убил четыре сотни жителей деревни, обвинив их в поддержке Алжирского национального движения Мессали Хаджа, его прямого конкурента в борьбе за независимость. Лежащие в ряд трупы на фотографиях выглядят не больше соломинок. Али затягивается сигаретой, выдыхает дым и в пустой Ассоциации мысленно выстраивает цепочку вопросов: А они? За что их? Они – предатели? Они боролись за независимость до вас! Как они могли вас предать, когда вас еще не было? За них у вас тоже найдется оправдание? Красивые слова? Гулко звучит его голос, низкий, дрожащий, и, хоть он никогда не бывал на спектаклях и даже не знает, зачем эти французы толпятся у входов в театры, в его речах с каждым стаканом анисовки все сильнее звучат печаль и гнев – как у Мадлен Рено, Робера Гирша или Андре Фалькона<sup>29</sup>, когда те играют на подмостках трагедии из жизни королей и королев.

Обычно, после того как он просидит взаперти в Ассоциации два или три часа, его накрывает стыд; он и заставляет вернуться к жизни. Али проверяет, сколько еще осталось в бутылке, всегда надеясь, что выпил меньше, чем обнаруживает. Когда он встает, пол немного качается, но терпеть можно. Он умывается холодной водой и полощет рот. Снова увидев свое отражение в окне, ошеломленно смотрит на это лунное лицо – его лицо, – на котором жир еще маскирует старость. Осталось поправить рухнувшую кипу листовок – и вот он готов выйти.

Он знает, что эти брошюры – пропаганда, с помощью которой французы вербуют сторонников, в том числе среди глав деревень. Они гармошкой разворачивают страшные фотографии, а потом уверяют, будто нашли у одного из пленных черный список ФНО, в котором фигурирует имя их собеседника. Для тебя запахло жареным, говорят они. Ты-де поступишь умно, если дашь нам взять всю твою деревню под защиту, иначе будет то же, что в Мелузе. Часто это срабатывает. В конце концов, всем известно, что французы знают способы – да еще какие – развязывать языки пленным феллагам. Так что это, наверно, правда. Потом, разуме-

---

<sup>29</sup> Знаменитые французские актеры 1950–1960-х годов.

ется, глава деревни узнает, что защита *покупается* и к тому же ее цена, как в любом фильме про мафию, неуклонно растет.

Да, Али знает, что у него в руках – орудие пропаганды, разработанное колониальными властями, он не глуп и не вчера родился, но так вышло, что у Франции и у него теперь есть общий враг, а пропаганда – превосходное топливо для гнева.

В задней комнате магазина Хамид и Анни строят замок из банок с томатной пастой. Она хочет, чтобы это был Версаль, он – чтобы дом Людоеда. Игра быстро перерастает в ссору. Анни страшна в гневе, лучше ей не перечить.

– Тихо, дети! – кричит Клод с нервозностью, которой они за ним еще не замечали. – А то нам уже самих себя не слышно.

Анни рушит замок, не желая уступать. Хамид долго дуется, уставившись в черно-белую плитку. Она обнимает его и целует.

– Я тебя люблю, – говорит он.

– Ты еще маленький, – отвечает она.

Вечером Хамид задает отцу вопрос про любовь. В другой день Али ответил бы ему, что у него нет времени на эти глупости, но сейчас, разомлев от анисовки, он задумывается.

Брак – это устои, структура. Любовь – всегда хаос, даже в радости. Ничего удивительного, если двое не подходят друг другу. Ничего удивительного, если человек выбирает семью, домашний очаг, на прочной основе, на базе очевидного контракта, а не на зыбучих песках чувств.

– Любовь – это хорошо, да, – говорит Али сыну, – хорошо для сердца, ты можешь убедиться, что оно на месте. Но это как лето, быстро проходит. А после становится холодно.

Однако он невольно представляет себе, каково было бы жить с женщиной, которую он любил бы как юноша. От чьей улыбки цепенел бы каждый раз. От чьих глаз лишался бы дара речи. Мишель, например. Приятно чуть-чуть помечтать. Он не знает, что для его детей и тем более для внуков эти несколько мгновений мечты, которые он позволяет себе иногда, станут нормой, которой они будут оценивать свою личную жизнь. Они захотят, чтобы любовь была сердцем, основой брака, причиной создания семьи, и будут биться, силясь соединить порядок обыденной жизни и пламень любви так, чтобы одно не задушило и не уничтожало другого. Это будет вечный бой, зачастую проигранный, но повторяющийся снова и снова.



В конце 1957 года Йема родила еще одного мальчика, и отец решил назвать его Акли. У младенца большие иссиня-черные глаза, всегда открытые и неподвижные. С первых дней родителей тревожит его слабое здоровье. Он худенький, плохо дышит, часто горит в жару.

– Зря ты дал ему это имя, – упрекает Йема мужа, – сглазил.

Али не хочет верить в рассказы кумушек. Он отвечает, что придет весна и малышу станет лучше, как всем. Это от холода ему нехорошо, да еще и снег пошел, и жизнь как будто остановилась. Хамид с нетерпением ждет, когда братик поправится, он хочет показать его Анни. Так куда интереснее, скажет он ей, с *живой-то* игрушкой.

Однажды ночью, когда тишина гор еще сгустилась от снега, который окутал все и усыпил, Акли в колыбельке вдруг стал кричать и не мог остановиться. Вся семья столпилась вокруг содрогающегося от крика тельца. Лобик малыша горит, на груди выступили красные пятна. Йема пытается покормить его, но он не берет грудь. Она растирает его, опустив палец в мед, пытается засунуть ему в ротик, но Акли весь горит и кричит непрерывно.

– Наверно, надо позвать врача, – говорит отец.

Он сказал так больше для себя, чтобы разумное слово прозвучало во всей этой суматохе. Но знает, что невозможно: снег блокировал дорогу, и ни спуститься в Палестро, ни подняться оттуда нельзя. Родственники суетятся вокруг, а младенец кричит так, будто это вовсе не он вопиет, будто из него выходит что-то чуждое.

– Ступай за шейхом, – приказывает Йема Али.

– Чтобы он нес нам глупости про джиннов и показывал фокусы?

– Чтобы он спас твоего сына.

Как только заря окрасила бледным светом вершины гор, Али выехал из дома на осле (машина не признает снега, она артачится и пятится перед ним, словно охваченное паникой животное) и отправился к дому целителя. Тот живет в стороне от *мехта*, в доме с круглой крышей, как надгробия святых – к ним мать водила Али молиться, когда он был ребенком. Перед домом он невольно робеет и входит с тем же почтительным страхом, с каким входил на кладбище. В доме нет ни женщины, ни ребенка, ни слуги, чтобы его встретить. Шейх живет один – как аскет, говорят его сторонники, как извращенец или пьяница, говорят его враги. Он смотрит на раннего гостя, не произнося ни слова.

– Мой сын болен, – робко говорит Али, сняв засыпанную снегом шапку.

– Я не доктор, – отвечает шейх очень мягко. – У меня нет лекарств.

– Он кричит... все время кричит... моя жена... – пытается объяснить Али. – В общем...

Она думает, что в него вошел демон. Потому что я дал ему имя умершего.

Поколебавшись, шейх кивает.

– Я пойду с тобой.

Он собирает какие-то вещи в большую кожаную суму и бормочет вроде бы сам себе, но и для Али:

– Послушать женщин, так мир полон джиннов, они повсюду. Как будто у демонов других дел нет... На самом деле редко, очень редко случаются наши с ними встречи. Частенько за мной приходят, а демона-то и нет. Надо было просто принять аспирин, или не пить спиртного, или уж не знаю что. Но люди обижаются, когда я им это говорю. Они ведь никак не могут прожить без демонов.

Обратный путь долог. Под тяжестью двух мужчин осел еле идет, спина его прогибается. Али чувствует прижавшееся к нему чужое тело, и обоих мотает из стороны в сторону всякий раз, когда натруженное копыто натывается на камень. Когда они добираются до дома, кругляш солнца уже висит в небе и снег блестит под его лучами, как убор невесты. Крики Акли стали

совсем слабыми, хриплыми, мучительными, но они продолжают вырываться из груди малыша, ротик его дрожит, глазки вытаращены. Осмотрев его, шейх удовлетворенно хмыкает.

– Вы правильно сделали, что позвали меня, – говорит он родителям.

Йема не может удержаться и за его спиной бросает на Али победоносный взгляд. Первым делом целитель медленно катает по маленькому тельцу яйцо, нажимая на подмышки, пах и горло. После этого он просит Хамида закопать яйцо в дальнем углу сада. Потом достает из своей сумы бумажные ленты, на которых написаны суры из Корана. Раскачиваясь взад-вперед, он нараспев произносит их над ребенком, который по-прежнему кричит. Через несколько долгих минут он протягивает ленты Йеме.

– Зашей их в его пеленки, – говорит он.

Младенец не перестает плакать, и целитель начинает жечь травы. Комната наполняется дымом и тяжелым запахом. Поводив по пламени острым краем плоского камня, он делает им на лбу ребенка, на руках и на груди несколько тонких вертикальных насечек. Акли наконец умолкает, устремив на целителя свои огромные черные глаза, два темных озера на маленьком сморщенном личике, залитом потом.

– Вот так, вот так, – шепчет шейх. – Все хорошо...

Али отвозит его назад на осле. Теперь, когда спешки нет, они почти засыпают и дремлют всю дорогу до маленького круглого дома, привалившись друг к другу.

– Ты не верил, ведь правда? – спрашивает шейх, раздувая угли в очаге.

Али, смутившись, пожимает плечами.

– Я тоже, наверно, не поверил бы, – мягко говорит целитель, – если бы не родился таким, но я умею видеть.

От кочерги с треском брызжут искры, и вскоре языки пламени уже лижут обугленные дрова. Оба со вздохом облегчения подносят к огню замерзшие руки.

– Я не говорю, что мне дана чудесная сила, – продолжает шейх. – На самом деле все, что у меня есть, – слово Божье, и я этому научился, это не дар. Но я знаю, что джинны бродят среди нас, и знаю нужную суру, чтобы прогнать их в пустыню.

– Разве есть одна сура на все?

– Два года назад ко мне пришла старая женщина, у которой сына замучила армия. Она попросила у меня суру, чтобы защитить дом и держать французов на расстоянии...

Двое мужчин улыбаются друг другу.

– Против ФНО у меня тоже ничего нет... – признается шейх. – Хотя я и начинаю думать, что это не помешало бы.

Наверно, этим двоим открыться друг другу позволяет усталость, или тепло после пути по снегу, или облегчение оттого, что смолкли крики Акли. Они разговаривают просто и душевно в белом с зеленым доме-кубе в форме камня Каабы.

– Тебе угрожают? – спрашивает Али.

– Их *улемы*<sup>30</sup> нас не выносят. Они считают, что мы извратили ислам нашим, как они говорят, идолопоклонством. Они ратуют за *чистый* ислам. Но что это значит? Для меня моя вера чиста. Дни напролет я думаю о Боге, вверяю ему каждую секунду моей жизни. Большого и желать нельзя. Значит, они желают меньшего. А меня это не устраивает.

Когда Али возвращается домой, Йема качает уснувшего младенца. Лицо ее осунулось, под глазами темные круги, но она улыбается мужу.

– Смотри, как он затих.

---

<sup>30</sup> *Улемы* (алимы) – собирательное название знатоков теоретических и практических сторон ислама.

Аккли у нее на руках видит сны, и пузырек слюны тихонько вздувается на крошечных губках. Хамид, свернувшись клубочком на диванчике, тоже уснул. Он тихо-тихо похрапывает, как маленький довольный зверек. Солнце быстро всходит в небесах, а дом Али, игнорируя дневной свет, возмещает бессонную ночь.

– Во сне забываешь все заботы, – говорит Али сыновьям, когда им пора ложиться спать, – такая удача выпадает всего на несколько часов, так пользуйся ей.

Когда Али и Йема проснулись в середине дня, растерянные, еще не опомнившись от ритма, навязанного им усталостью, они обнаружили, что Аккли больше не дышит. Ребенок холодный, недвижимый, он посинел, губы и кончики пальцев почти фиолетовые. Веки закрыты и неподвижны, словно на его черные глаза положили два камня. И когда Наима думает об этой сцене, в памяти всплывает давным-давно выученное стихотворение: «Этой ночью никто не разбудит уснувших»<sup>31</sup>.

Снег тает, тихий шум водопада доносится отовсюду, приглашает склониться и посмотреть, как хлопья на пышных ветвях становятся изменчивой, призрачной водой. Но Али идет прямо среди олив, покрытых белизной и инеем. За ним семят Хамид и Кадер. Он попросил их пойти с ним. Мальчики выдыхают густые облачка пара в холодном, бодрящем зимнем воздухе, в нем все очертания кажутся четче обычного.

– Почему мы здесь, *бабá*? – спрашивает Хамид.

– Почему, *бабá*? – повторяет Кадер.

– Чтобы побыть вместе, – отвечает Али. – В мужском кругу. Пережить горе в мужском кругу.

И они вновь молча идут по зимним полям. Али иногда оборачивается на двух старших сыновей и думает, не решаясь им это сказать, но надеясь, что они поймут: смотрите хорошенько на все, что вокруг вас, запечатлейте в памяти каждую веточку, каждую частичку земли, ведь никто не знает, что нам удастся сохранить. Я хотел дать вам все, но я не уверен больше ни в чем. Возможно, завтра мы все умрем. Возможно, эти деревья сгорят, прежде чем я успею понять, что происходит. То, что написано, скрыто от нас, счастье приходит к нам или уходит, а мы не знаем, как и почему, не знаем и никогда не узнаем, это все равно что искать корни тумана.

С этого момента нет больше открыток, нет ярких картинок, с годами выцветших до пастельных тонов, придающих всей сцене особое очарование. Их заменяют несуразные фрагменты, всплывшие в памяти Хамида и искаженные годами молчания и беспокойных снов, осколки сведений, которые невзначай роняет Али, отвечая противоположное тому, о чем его спрашивают, обрывки рассказов, как будто взятые из фильмов о войне, никем на самом деле не пережитые. А между этими пылинками, как замазка, как гипс, которым заполняют щели, как серебро, которое плавится в горах, чтобы послужить оправой для больших, иной раз с ладонь, кораллов, – поиски, предпринятые Наимой шестьдесят с лишним лет спустя после бегства из Алжира, поиски в попытке придать форму, упорядоченность тому, у чего их нет и, наверно, никогда не было.

---

<sup>31</sup> Из стихотворения Луи Арагона «Песня, чтобы забыть Дахау».



В июне 1958 года к власти пришел генерал де Голль. В казарме Палестро ликуют. Де Голль – это вкус Франции, отец армии; де Голль – это де Голль, черт возьми. Он знает, что делать, да и на международной арене выглядит как надо. На террасах кафе солдаты поднимают бокалы с криком: «За Генерала! За французский Алжир!»

Стоящий за прилавком Клод, прикивая ухом к радиоприемнику, не столь решителен:  
– Он говорит, что нас понял... Ладно, но кого это «нас»?

После смерти сына Йема не позволяет Али к ней прикасаться. Он все чаще ночует один в квартире в Палестро. В последние годы квартира была нужна разве что для упоминания в разговорах – вот-де как преуспел Али. В ней пахнет затхлостью и пылью. Иногда Али предпочитает сидеть на стуле в Ассоциации до самого рассвета.

У всех на виду надпись на скалах вдоль дороги, змеящейся до самого Цбарбара:

**ФРАНЦУЗСКАЯ АРМИЯ ОСТАНЕТСЯ ЗДЕСЬ  
И ВСЕГДА БУДЕТ ВАС ЗАЩИЩАТЬ**

– Почему ты так поздно приходишь домой? – спрашивает Анни у Мишель.

– Я кое с кем встречаюсь... С военным. Никогда бы не подумала, что и я подхвачу эту моду на военных.

На прилавках крытого рынка запах фруктов, цветов и помятых овощей, пригретых утренним теплом, так назойлив, что и не скажешь – восхитительный он или гадкий. Хочешь пощупать помидоры – и палец погружается в их сочную мякоть. В Рыночном кафе мужчина за столиком читает статью о плане Константина <sup>32</sup>, обнародованном Генералом 3 октября. Это длинный список цифр и обещаний: строительство жилья, передел земель, индустриализация и создание десятков тысяч рабочих мест, эксплуатация месторождений нефти и газа, открытых в Сахаре.

– Они бы никогда столько не вложили, если бы хотели уйти, – комментирует мужчина. – Они будут держаться крепко.

Юсеф снова исчез из деревни. Его больше не видно на площади. Не видно и у реки, в обязательном месте встреч для всех мальчишеских игр. Он больше не тратит свою жизнь на дорогу в горы и обратно.

Омар воспользовался случаем, чтобы повысить свой ранг в группе. Хамид теперь только и ждет возвращения старшего друга.

Согласно плану Шалля <sup>33</sup> дождь драгоценных камней пролился на страну этой осенью: операции «Рубин», «Топаз», «Сапфир», «Бирюза», «Изумруд». Смерть, настигшая регион Константины, никогда еще не носила таких красивых имен.

Деревни эвакуируются насильно и на скорую руку строятся в других местах, за кордонами и рвами. Тянутся процессии людей-улиток, почти как в детской считалке несущих на спине свои домишки – в разобранном виде. Французские власти лаконично называют их «переселенцами».

---

<sup>32</sup> План Константина вступил в силу 3 октября 1958 г. после выступления де Голля в алжирском городе Константин. Был направлен на скорейшую индустриализацию Алжира, чтобы удержать его в составе Франции. План, как известно, не удался.

<sup>33</sup> План ведения боевых действий назначенного при де Голле командующего войсками в Алжире генерала Мориса Шалля.

На призрачные зоны, оставленные жителями, сбрасывают бомбы, а иногда и напалм. Наима не поверит своим глазам, когда прочтет об этом, ведь она всегда была так убеждена, что смертоносная жидкость принадлежит другой войне, более поздней, получившей на нее исключительное право. Военные между собой говорят о «спецканистрах».

Эта война идет под прикрытием эвфемизмов.

Снова снег, ранний в этом году. Он окутывает могилку Акли толстым покрывалом, которое никто не решается снять. Склоненная тень Йемы на его фоне едва различима.

Воспоминания смутны, как спутана память Хамида и Али, вроде бы конец 1959-го. Французские солдаты добрались до вершины горы на веренице зеленых грузовичков, уродливых, как жабы.

– Ты знаешь Юсефа Таджера?

Рука хватает за ворот или прямо за волосы.

– Юсеф Таджер – тебе это что-нибудь говорит?

Большой палец уходит глубоко под ключицу, кулак почти раздавил запястье.

– Где он?

За каждым «не знаю» следует удар прикладом или ногой. Особенно усердствуют они с Фатимой-бедняжкой, матерью Юсефа. Она объясняет им, давясь слезами и осколками зубов, что понятия не имеет, где может быть ее сын, что он плохой сын, что у нее все равно что нет сына. Она почти забыла, что перед ней военные, и переходит на кабилский, выкладывая череду горьких жалоб на Юсефа. Он-де никогда не вел себя как мужчина после смерти отца, он-де ее единственный сын, но оставил ее одну в горе и бедности.

– Раз так, никто по тебе скучать не будет, – говорит сержант.

И стреляет ей в голову. Хамид здесь, совсем рядом, держится за руку двоюродного брата Омара. Он видит, как оседает тело Фатимы. Сломанной куклой. Обрываются ее жалобы. Мелким дождиком брызжет на стену кровь. Растекается большой лужей на земле под тряпьем ее тела. Когда старый Рафик кинулся к ней, сержант пристрелил и его. Дети убегают.

Ниже по склону, в отдаленных полях, крестьяне обнаружили оливковых мух. Принявшись отыскивать следы их кладки на плодах, они ничего не слышали. Встревожили их крики детей. Они тотчас бегут к ним. Добежав, не спрашивают «Что случилось?», но «Кто?».

– Франкауи, – кричит Омар, – они искали Юсефа! Фатиму-бедняжку убили!

– Оставайтесь здесь, – велит Али малышам и показывает на канаву. – Ложитесь на дно и лежите смирно, ясно?

Дрожа, мальчики повинуются. Они лежат в душистой траве лицом вниз, травинки щекочут им ноздри, по ним туда-сюда ползают насекомые. Это дети, с ними никогда ничего не случилось – даже четыре года войны пролетели над их головами, как далекие самолеты, пассажиров которых не разглядеть в иллюминаторы. И поскольку это дети, они мечтают с тех лет, когда можно мечтать, чтобы с ними что-то случилось, но, конечно, не это, не встреча лоб в лоб со смертью, не удар, нанесенный смертью прямо в лицо, и не ожидание в канаве, где смерть похожа на травы, где смерть похожа на чашечки цветов, похожа даже на жука-скарабея, чья спинка разделена на два черных щита.

На дороге перезрелые фиги попадали с деревьев и превратились в темную липкую массу. Али поскользнулся, упал, расцарапал руки и колени, встал и идет дальше.

Переводчик капитана, сын продавца кур, тоже пришел с подразделением, захватившим деревню. К нему и бежит Али, подняв руки, как будто сдается, но при этом наступая, – или наоборот: наступая, сдаваясь. Он дает слово чести, что Юсефа здесь нет и никто его не прячет.

Скажи им это, скажи им. Он ушел много недель назад, никто его не видел, такое с ним часто случается. Скажи им это, пожалуйста, скажи им. Али повторяет имя капитана, тычет пальцем в тех солдат, что видели его в казарме. Они меня знают, скажи им, они знают, что мне можно доверять.

Сержант смотрит, как он жестикулирует, умоляя переводчика. Наконец он делает знак своим людям сгруппироваться. Двое из них опускают заднюю створку одного из грузовиков. Достают окоченевшее тело, покрытое грязью и засохшей кровью, сбрасывают на землю. Это лейтенант ФНО, Таблатский Волк. Французские солдаты привязывают его к столбу.

– Он останется здесь, чтобы вы не забывали. Смерть никого не щадит, вам ясно? Героев нет, ясно?

Французы стремительно уезжают. Мертвое тело остается. Окоченевший труп муджахиды с засохшей на усах грязью похож на жалкую марионетку, куклу алжирского воина в плохом гиньоле<sup>34</sup>.

– Спасибо, сынок, – говорил старая Тассадит Али.

Она ковтыляет к нему и целует ему руки. Другие жители деревни тоже подходят поблагодарить его. Когда Али позже вспоминал эту сцену, ему на ум всегда приходил именно этот момент, непонятный извив Истории: никто не плюет ему в лицо, никто не винит в связях с армией. Все в деревне считают, что он спас им жизнь.

Труп Таблатского Волка, пленник своей вертикальной позы, смотрит мертвыми глазами, как жители деревни со слезами и улюлюканьем провожают останки Фатимы и старого Рафика на кладбище, что на крутом склоне. Он привлекает зверье, шакалов, стервятников, полосатых котов, лисиц и тварей поменьше вроде землероек, крыс и полевок – кишашую массу с острыми зубками. Вправду ли он служит примером? Надо быть дураком на этой стадии «событий», или «беспорядков», или войны – называйте как хотите, – чтобы не понять: смерть грозит каждому, и не важно, с какой стороны она придет. Труп, в конце концов, не так страшен для горцев, как все сгинувшие, те, чье отсутствие пробило в памяти кровоточащую брешь, она выглядит как они сами, с их голосом, насмешливая пробоина с румяными щеками, серая брешь дождливых дней.

Иные сгинувшие ждут на дне реки, когда кто-то их хватится, другие в яме в пустыне, в расщелине в горах. Есть сгинувшие, чьи тела были найдены, но пропали лица, разъеденные кислотой.

Таблатскому Волку хотя бы повезло, он умер под своим именем, вернее сказать, умерло все одновременно: имя, тело и лицо. Душа? Что случилось с его душой? Хамиду и Омару, которые приходят посмотреть на труп, невзирая на запреты родителей, трудно поверить, что она в раю Аллаха, в то время как тело гниет, привязанное к деревянному столбу. Она, должно быть, еще где-то здесь и смотрит на них.

---

<sup>34</sup> Здесь имеется в виду не знаменитый парижский театр Гранд-Гиньоль, закрывшийся в 1962 г., а кукольный театр гиньоль, в котором присутствовала кукла злого алжирца.



«Все достойные мужчины в лес ушли, и есть тому причины», – говорится в старом стихотворении Си Мханда, и за ним приоткрывается мир, населенный только женщинами, детьми да трусами, в окружении деревьев, за которыми прячутся бойцы, или в окружении бойцов, которых так много, что они могут заменить собой деревья, – не знаю. Однако по дороге к реке и во время купанья Хамид никого не видел. Он поднимается по склону, заросшему травой и олеандрами. Вода унесла его башмак, и он скачет на одной ноге. Он знает, как будет кричать Йема, как ему достанется на орехи за то, что он ушел один так далеко, да еще потерял обувь. Каждый день мать повторяет свой запрет выходить, каждый день он кричит, улыбается, ластится, выторговывает всеми средствами, какие только есть у детства, разрешение хоть ненадолго выйти. Ему не понять страха матери, потому что он не может себе представить, что умрет, – это взрослые дела. Сегодня он убежал из дома тайком – и не то чтобы боится неминуемой взбучки. Йема сделает вид, будто сердится, а сама задрожит от счастья, видя его живым и невредимым. А он прикинется, будто ему стыдно, все еще радуясь, что снова удалось сбежать. В эту игру мать и сын играют частенько.

Он слышит свист за соснами и узнает знакомый мотив, не совсем приличную песенку, которую деревенские мальчишки напевают забавы ради за спиной родителей. И он идет на свист, забыв предостережение отца: «Больше нечего ждать с гор добра». Мелодия ведет его к хорошо знакомому месту, где скалы срослись наподобие массивного трона с мягкими изгибами. Сюда мальчишки приходили обсушиться и погреться на солнышке после купанья, когда еще могли гулять целыми днями. При виде нескладной фигуры, лежащей на сером камне, сердце Хамида подпрыгивает в груди. Не может быть!

Свистун открывает глаза и улыбается ему, Хамид узнает щель между зубами – в деревне говорили, что в этой щели он всегда запасаает немного пищи, это зубы нищеты и хитрости.

– Юсеф!

От радостного крика мальчика взмывают с веток птицы, а парень отвечает насмешливым эхом:

– Хамид!

Они пожимают друг другу руки, стучаются лбами и обнимаются. Хамид никогда не понимал, чего больше в этом жесте, любви или борьбы, но это их приветственный жест, всех мальчишек с гор. Чтобы лицо Юсефа оказалось вровень с головой восьмилетнего Хамида, ему приходится согнуться пополам. Постояв так несколько секунд, молча, улыбаясь, они расцепляют руки.

Юсеф очень худ, кожа обтягивает кости, как мокрое белье или папиросная бумага, и кажется такой тонкой, что вот-вот лопнет от движений челюсти. Прошло много месяцев, как он пропал, никто в деревне его больше не видел, и Фатимы-бедняжки много месяцев как нет. Уже все знают, что Юсеф ушел в горы. Мальчишки часто о нем говорят, даже те, которые слишком малы, чтобы его помнить. Здесь он был их главарем, а теперь, когда его нет, – стал их кумиром, единственным из них, кто уже вполне взрослый, чтобы самому сделать выбор. Иногда Али говорит, что нельзя быть ни в чем уверенным, что Юсеф, возможно, сгинул, как многие другие, или гниет в тюрьме в Палестро. Но Омар, Хамид и остальные верят в рассказы, ими же и выдуманные: нет, такой парень – боевой командир, новый Арезки, кабийский Робин Гуд. И вот сейчас Юсеф – живой и свободный, как им всегда и виделось, – стоит перед Хамидом, и мальчик счастлив, как будто ему явился Бог.

– Расскажи, Расскажи, – молит он. – Как там?

– Сначала пришлось туго... Я чуть не умер с голоду, было еще много всякого, но голод хуже всего. Бывало, думал вернуться только потому, что хотел есть. От голода такие схватки

в животе, я и представить себе не мог. Мне даже снилась еда, которую я раньше терпеть не мог, лепешки, например, из бараньего жира или хвост, этот жуткий овечий хвост, от которого меня всегда тянуло блевать. По ночам мне являлась мать с полным блюдом овечьих хвостов, и я плакал от счастья, целовал ей ноги и просил прощения за все, что мог наговорить ей при жизни...

Юсеф страдальчески морщится, гримаса искажает его красивое лицо с проступающими костями:

– Они обещали нам, что все будет хорошо. Уверяли, что армия Насера<sup>35</sup> придет нам на помощь. Как же. Мы не видели и тени ни одного египтянина. Так и хоронились там... Иногда я думал, что мне уже двадцать лет, и я буду всю жизнь прятаться в пещере, как дикий зверь, и от этого я просто из себя выходил.

– Почему же ты оставался с ними?

– А ты тоже будешь поддерживать экономическую систему, основанную на угнетении и непредсказуемости? – спрашивает Юсеф Хамида.

– Чего?

Оба хохочут, понимая, что фраза парня не имеет никакого смысла для восьмилетнего мальчишки. Юсеф и сам не всегда уверен, что ее понимает, но заучил наизусть. Иногда она кажется ясной, а иногда это просто слова, выложенные в ряд, как камушки у дороги.

– Я мучился, как пес, пятнадцать первых лет моей жизни, – объясняет он, отсмеявшись. – Я не хотел, чтобы так продолжалось. ФНО обещает, что мои муки кончатся, если мы прогоним французов. Французы обещают, что мои муки кончатся, если я пойду в школу, научусь читать и писать, если сдам экзамены и получу диплом техника, если найду работу на хорошем предприятии, если куплю квартиру в центре города, если откажусь от Аллаха, если буду носить закрытые ботинки и шляпу, как румы, если избавлюсь от акцента, если заведу только одного или двух детей, если отдам мои деньги банкиру, а не буду хранить под кроватью...

Хамид смотрит на него, вытаращив глаза и приоткрыв рот. Так восторженно и сосредоточенно смотрят дети на представление фокусника.

– Слишком много «если», – говорит Юсеф ласково, – ты не находишь?

Мальчик энергично кивает. Минут пять они молчат, наверно, считают «если», глядя, как колышутся на ветру верхушки сосен.

– Мы их одолеем, – говорит Юсеф. – Это уже вопрос дней...

– А Анни? – с тревогой спрашивает Хамид.

– Что Анни?

– Я хочу на ней жениться, – заявляет Хамид с величайшей серьезностью.

Он впервые формулирует свою надежду вслух, и эта минута становится для него зыбкой церемонией.

– Этого никогда не будет, – со смехом отвечает ему Юсеф.

– Вы прогоните ее во Францию?

Тот пожимает плечами:

– Она сама уедет. Ты думаешь, французы здесь, потому что им нравятся виды? Когда им скажут, что они не могут больше жиреть за наш счет, поверь, они все соберут манатки быстрее, чем требуется, чтобы сказать «Французская Республика».

– Только не Анни, – не уступает Хамид.

– Осел, – смеется Юсеф, в шутку отвесив ему подзатыльник.

---

<sup>35</sup> Гамаль Абдель Насер (1918–1970) – египетский революционер, возглавивший в 1952 г. восстание против короля Фарука; с 1958 по 1970 г. президент Объединенной Арабской Республики.

Он надевает тельник, военный китель, ботинки на шнурках. Хамида он в этой одежде впечатляет, в нем появилась выправка, какая-то новая мужественность, и мальчик краешком глаза следит за каждым его движением, чтобы потом подражать.

– Можно мне с тобой? – робко спрашивает он.

Юсеф хохочет.

– Ты? Ты? Ах ты бедняжка... У твоего отца будет разрыв сердца, если ты уйдешь в партизаны.

Хамид не понимает почему: тогда уж скорее у Йемы. Она точно этого не переживет. Парень уходит, и он машет рукой. Ради ли прикола, в память об их былых играх в шпионов, или это и впрямь реальная предосторожность – тот оборачивается и просит мальчика не смотреть, в какую сторону он пойдет. Хамид послушно прикрывает глаза ладошкой.

– Послушай, – звучит удаляющийся голос Юсефа, – послушай хорошенько... те, что приняли сторону французов, дураки, они ошиблись. Но еще не поздно. Они еще могут присоединиться к нам. Если они придут с оружием, убив хоть одного офицера, их простят. Алжир не ест своих детей. Передай это.



Али теперь часто ходит в казарму, чтобы обменяться информацией с капитаном. Он говорит немного (ничего, скажет он потом на воображаемых процессах в лагере, совсем ничего – да, я называл имена, но это были имена умерших), ровно столько, сколько нужно, чтобы сохранить с армией доверительную связь, необходимую для защиты деревни.

Он выбрал, скажет себе Наима позже, читая свидетельства, которые могли бы (но только могли бы) принадлежать ее деду, защиту от убийц, которых ненавидит, другими убийцами, которых тоже ненавидит.

В июне 1960 года представители Франции встретились с делегацией Временного правительства Алжирской республики в Мелёне для переговоров.

– Де Голль нас бросает, – ворчат солдаты.

Провал этих первых переговоров посеял сомнение, что их бывший герой по-прежнему на их стороне.

На улицах Палестро начинают закрываться магазины европейцев. Их немного. Это едва заметно. Опустошенная витрина, сорванная вывеска, погашенная лампа.

Придя в очередной раз к военным, Али видит Мишель, быстрым шагом выходящую из казармы. Как обычно, в присутствии этой женщины все слова, пусть даже он их и знал, вылетают из головы. Но на сей раз Мишель тоже молчит. Два жгуче-красных пятнышка размером с монету выступают у нее на щеках, потом расплываются, окрасив все лицо до ушей ярко- или нежно-розовым. Так и хочется потрогать пальцем. Она резко оборачивается, и Али видит по ту сторону, во дворе, капитана с длинным подвижным носом, который пристально смотрит на них. Так они и стоят все трое, никто не знает, что сказать, и каждому ясно: невозможно смотреть на двух человек одновременно.

В казарме солдаты хмурые и недобро косятся на Али, когда он входит в кабинет капитана.

– Де Голль объявил референдум по самоопределению, – объясняет переводчик. – Они теперь не знают, что и думать.

Возле крытого рынка уличный зазывала бьет в барабан и визгливым голосом сообщает о назначении председателя Совета в декабре. Европейцы плюются или пожимают плечами. Во дает Шарль. Они больше не верят.

– Это обманная маневр, уловка де Голля, – говорит Али братьям. – Они никогда не выпустят Алжир: партизан подавили, все в руках у армии. ФНО принимает свои мечты за действительность.

– Но если независимость все же придет, брат?

– Разве мы не должны?..

У всех троих на уме послание Юсефа.

Ночами, в тиши и темноте, множатся кражи оружия из всех казарм страны, дезертирства и убийства. Между французскими военными и их местными подчиненными отношения накаляются. Они больше не играют в кости у колес джипов. Не учат друг друга забавы ради ругательствам на своих языках. Возвращаются в горы мужчины, которых выплонули казармы после многих лет военной службы.

– Командир велел возвращаться домой, – объясняют они, пожимая плечами.

Едва вступив в свою деревню, а то и раньше, там, где дорога делает изгиб, где растут темные купы вечнозеленых дубов, некоторые из них исчезают. Никто не спрашивает, что с ними

сталось. ФНО объявил: тем, кто *оделся*, нельзя будет снять форму и жить прежней жизнью. Придется предварительно отмыться в крови офицера.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.